СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

Jerome K. Jerome

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«На сцене и за кулисами: Воспоминания бывшего актёра» (*On the Stage — and Off: The Brief Career of a would be Actor, 1885*) — первая книга Джерома К. Джерома, в которой он делится своим опытом игры на сцене. Перевод д'Актиля.

- Джером Клапка Джером
  - Предисловие
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Глава VII
  - Глава VIII
  - Глава IX
  - Глава X
  - Глава XI
  - Глава XII
  - Глава XIII
  - Глава XIV
  - Глава XV
  - Глава XVI
  - Глава XVII
  - Глава XVIII
- notes
  - 1
  - 2

Джером Клапка Джером
На сцене и за кулисами

Предисловие

Приступая к этой книге, я считаю долгом предупредить читателей, что постараюсь быть искренним и буду говорить одну только правду. Оглядываясь назад и припоминая прошлое, я старался проникнуть испытующим взором сквозь завесу следов, оставляемых быстротекущим, загадочным временем, и смотрел на вещи так, как они представляются, но отнюдь не предубежденно. Так, я смотрел на ухабистую, неровную дорогу совершенно так же, как и на сияющий жизнью, веселый ландшафт, а на колючие кусты терновника и шиповника совершенно так же, как и на зеленую мураву и колышущиеся деревья.

Теперь, как бы то ни было, эта моя работа окончена, и потому не стоит напрасно утруждать свою память; приятный для зрения туман всего отдаленного делает свое дело и сцена кажется опять прекрасной, обворожительной и чарующей страной, о которой я так мечтал до знакомства с нею. Я забыл все непривлекательные ее стороны и помню одни только светлые моменты. Все перенесенные мною невзгоды и неприятности кажутся мне теперь веселыми, увлекательными инцидентами, все терзания и муки — веселым развлечением.

О сцене я вспоминаю и думаю как о потерянном друге. Мне нравится любоваться и наблюдать ее добродетельные стороны и порицать ее пороки. Я стараюсь забыть всех нахалов, дерзких негодяев и хитрых мошенников, подвизающихся на подмостках, и вспоминаю одних талантливых героев, добродетельных девиц и добрых стариков.

Да погибнет зло. Я встречал больше честных и хороших людей, чем злых, и потому предпочитаю вспоминать и думать о первых. Мне кажется, что масса рук протягивается ко мне со всех сторон, и все это такие честные, благородные руки, что я с удовольствием мысленно пожимаю каждую из них. Но где сами лица, которым принадлежат эти благородные руки? Вот вопрос, который меня сильно интересует. Много лет прошло с тех пор, как я видел их в последний раз; волны житейского моря с каждым днем все дальше и дальше удаляют нас друг от друга. Но где бы они ни были, куда бы ни уносило их быстрое течение жизни, я посылаю им отсюда сердечный, дружеский привет. Надеюсь, что разделяющие нас шумные волны не заглушат моего голоса, и поэтому посылаю им и их симпатичной профессии сердечное и искреннее — «Бог в помощь».

Глава I
Я решаюсь сделаться актером

В жизни каждого человека бывают моменты, когда он чувствует в себе призвание актера и находится в полном убеждении, что рожден для сцены. Что-то подсказывает ему, что он великий человек, посланный Провидением специально для того, чтобы поразить свет. С этих пор его начинает неотступно преследовать мысль о том, как он будет проливать истинный, неведомый до тех пор свет в сердца людей и получать триста фунтов гонорара в неделю.

Обыкновенно такая пора мечтаний наступает у девятнадцатилетних юношей и кончается в двадцать лет. Но все юноши бывают настолько близоруки в своих увлечениях, что никого и ничего не слушают и не признают никаких логических доводов и убеждений. Они мнят себя какими-то вдохновленными пророками, посланными свыше, и поэтому твердо решаются посвятить новому призванию всю свою жизнь. Но скоро, когда их первая попытка выступить в Королевском театре, в роли Гамлета, оканчивается неудачей, наступает маленькое разочарование. Я не составляю исключения из общего числа людей, и потому, в свое время, пережил этот период юношеских увлечений. Однажды я сидел в театре и смотрел «Ромео и Джульетту», как вдруг меня бросило в жар и в голове мелькнула мысль, что настоящее мое призвание — быть актером. Затем мне представилось, как весело живут актеры, как они имеют возможность все время ухаживать за хорошенькими актрисами, и тут же я решил посвятить всю свою жизнь этому благородному и приятному занятию. На следующий день я с гордостью объявил товарищам свое героическое решение, но, вопреки ожиданию, они не только не похвалили и не поддержали меня, а наоборот, стали всячески разубеждать и отговаривать. Мало того, они назвали меня дураком и объявили, что до этих пор всегда считали меня умным человеком, хотя я в первый раз слышал от них такой комплимент, и потому удивляются, как я мог прийти к такому нелепому решению.

Но никакие их убеждения не действовали, и я остался тверд в своем желании.

Я начал с того, что взялся за изучение великих английских драматургов. У меня хватило настолько опытности и знания дела, чтобы не обращаться ни к кому за советом, предварительно подготовив себя, таким образом, к такой трудной и ответственной карьере. Прежде всего я прочел от слова до слова всего Шекспира

со всеми примечаниями Бена Джонсона, Бомонта и Флетчера, Шеридана, Голдсмита и лорда Литтона, которые делают его еще более непонятным. Тут я почувствовал, что близок к умопомешательству. Прочти я еще хоть одного столь же великого классического драматурга, поверьте, пришлось бы отвезти меня в желтый дом. Чтобы немного освежить и заставить отдохнуть мой уставший ум, я допустил некоторое разнообразие и принялся за фарсы и водевили. Но они подействовали на меня еще более угнетающе, чем трагедии, так что меня начала преследовать и мучить мысль, что страсть быть актером совсем не так заманчива и привлекательна, как кажется и казалось мне с первого взгляда. Я готов был уже прийти в отчаяние и поставить крест на своем призвании, как вдруг, совершенно случайно, мне попалась под руки небольшая книжка «Искусство гримировки», и это немножко оживило и ободрило меня. По моему мнению, любовь к нарядам и гримировке составляет наследственную черту характера, присущую всем людям.

Помню в детстве, будучи еще маленьким мальчиком, я состоял членом одного «увеселительного — музыкального — восточнолондонского кружка». Мы собирались каждую неделю и давали нашим родственникам и знакомым даровые представления, во время которых играли на концертино и пели оригинальные песни, и при этом каждый раз обязательно подмазывали лицо и руки жженой пробкой. Зачем мы это делали, я до сих пор не могу понять и уверен, что доставили бы нашим родителям гораздо большее удовольствие, если бы появлялись на эстраде в своем натуральном виде. Ни одна из наших песен не имела отношения к кочегарам или трубочистам, кроме того, мы даже и не думали изображать какие-нибудь шарады; между тем что касается острот и шуток, то они всецело исходили из публики.

Тем не менее мы не унимались и продолжали старательно расписывать свои лица и руки, как будто бы того требовал какой-нибудь необходимый религиозный обряд. Объяснить все это можно одной только глупостью.

Гримировка очень полезна и много помогает актеру. Это я сам испытал на собственном опыте. У меня и теперь не грубые черты лица, а в то время были совсем мелкие и благородные. Я не очень был рад такому обстоятельству, потому что оно причиняло мне много забот и хлопот. Сколько бы я ни стоял перед зеркалом и ни старался изобразить порочные типы, хотя бы, например, пьяного разносчика, ничего не выходило. Это совершенно не соответствовало ни моей внешности, ни моему характеру. Стыдно признаться, но я более был похож на духовное лицо, чем на

пьяного разносчика; тогда я старался изобразить хоть трезвого разносчика, но и тут ничего не выходило. Такое же фиаско я терпел при изображении отъявленных негодяев: ничего такого не было во мне и на йоту. Я скорее имел вид принарядившегося молодого человека, собирающегося погулять в хороший праздничный день и вскружить голову не одной молодой девушке, чем негодяя и разбойника, мучающего беззащитную, достойную любви и уважения слабую женщину или убивающего своего дедушку. Я сам понимал это отлично и не мог смотреть на себя.

Играть такие роли с моей стороны было бы бессовестной профанацией и нарушением главных законов Лафатера. Моя самая свирепая мина и грозно нахмуренные брови придавали моим кровожадным монологам какой-то нерешительный и трусливый характер, а когда я пробовал улыбаться саркастически, получалось какое-то ужасно идиотское, тупое выражение.

Но всклокоченный парик и достаточное количество румян сразу изменили положение дел к лучшему. С того момента, как я наклеил фальшивые брови и при помощи грима придал своим щекам впалый, изможденный вид, во мне сразу воскресла душа и характер отца Гамлета. С черными глазами, с болезненным выражением лица и длинными волосами я был настоящий Ромео и до тех самых пор, пока не смывал с лица весь грим, страстно бывал влюблен в Джульетту, помимо еще своих двоюродных сестер. Стоило мне только помазать белилами щеки и сделать на носу красное пятно, как неизвестно откуда, сам собою являлся ко мне юмор самого настоящего клоуна, а с длинной, всклокоченной черной бородой я чувствовал себя в силах совершить по заказу какое угодно преступление.

Но не так успешно подвигались вперед мои стремления изучить приемы декламации. На несчастие, я имел тогда самые превратные и дикие понятия о смешном и смертельно боялся, как бы надо мною не смеялись и не потешались. Моя чрезвычайная чувствительность в этом отношении дошла до таких пределов, что при других обстоятельствах я бросил бы всякие попытки сделаться актером; она преследовала меня и мешала мне в моих репетициях на каждом шагу не только на сцене, но даже в моей собственной комнате с плотно закрытыми дверьми. Я всегда боялся, что меня кто-нибудь подслушает и потом станет надо мною издеваться; поэтому я большую половину времени проводил, стоя в согнутом положении у замочной скважины и глядя, не подслушивает ли меня кто-нибудь у дверей; при каждом скрипе лестницы или стуке я моментально обрывал на полуслове свои горячие монологи и принимался бегать взад и вперед по

комнате, беззаботно насвистывая или напевая какую-нибудь арию, чтобы сделать вид, что я развлекаюсь от нечего делать. Я пробовал вставать рано и уходил далеко за город на Hampstead Heath, но и это не помогло. Только в пустынной Сахаре, притом убедившись, с помощью огромной подзорной трубы, что на расстоянии двадцати миль в окружности нет ни одного живого существа, я мог бы без опасения всецело посвятить себя декламации. Я сделал большую глупость, доверившись Hampstead Heath'у и вообразив, что там действительно нет подслушивающих людей; за такую наивность я был жестоко наказан на следующее же утро. Будучи в полной уверенности, что в такую глушь, да еще в такую рань никто не заберется, я совершенно успокоился и с чрезвычайной развязностью, с трагическими жестами и большим выражением стал декламировать известную роль Антония над трупом Цезаря. Только что я ее кончил и стал раздумывать, что бы мне продекламировать еще, как в нескольких шагах, у меня за спиной, в колючих кустах шиповника раздался громкий шепот:

— О Лиззи, как тебе это нравится? Джо, беги скорее, пускай Амалия приведет сюда Джонни.

Конечно, я не стал ждать, пока Амалия приведет Джонни, и бросился бежать прочь от этого места со скоростью шести миль в час. Только пробежав изрядное расстояние, я рискнул осторожно обернуться назад. Убедившись, что меня никто не преследует, я остановился, перевел дух и решил никогда больше не упражняться на Hampstead Heath'е.

Ровно два месяца мучился я таким образом, упражняясь урывками, втихомолку, во всяких уединенных местах и, наконец, пришел к убеждению, что достаточно приготовился и теперь могу уже публично «выступать» на сцене. Но тут сам собою возник вполне естественный вопрос, который раньше не приходил мне в голову, — каким образом добиться этого? Первая мысль, которая осенила меня, это — написать какому-нибудь известному театральному антрепренеру, откровенно объяснить ему, чего я домогаюсь, и скромно, но правильно описать свой талант. Затем я воображал, что антрепренер сейчас же ответит мне и пригласит к себе, чтобы лично убедиться, на что я способен. Я, конечно, приду в назначенное время к нему в театр и велю служащему передать ему свою визитную карточку. Антрепренер сейчас же выйдет ко мне навстречу, пригласит к себе в свой кабинет и после обычного обмена приветственными фразами и разговора о погоде, о последнем, наделавшем много шума скандале или убийстве и прочем, предложит прорепетировать при нем какую-нибудь коротенькую сценку или сказать два или три монолога. Я исполню его просьбу и поражу его; он придет от меня в восторг,

расцелует и примет в свою труппу, сначала на небольшое жалованье. Я и не мечтал о большом жалованье и пять-шесть франков на первых порах считал вполне достаточным вознаграждением. Я и тогда уж чувствовал, что главное — взяться за дело, а остальное — пустяки. Несколько первых месяцев, а может быть, и год, я не произведу на публику особенного впечатления. Но вот ставят новую пьесу; мне дают неблагодарную и совсем незаметную роль, от которой антрепренер не ожидает ничего особенного. Но эта незаметная роль преображается в моих руках (я только что прочитал историю «лорда Дондрери» и поверил каждому ее слову); при моей артистической игре она составляет главный центр пьесы, на ней сосредоточено всеобщее внимание. На следующий день обо мне говорит весь Лондон.

На все представления, где я участвую, публика валом валит в театр, антрепренер сразу наживает огромное состояние, и я выступаю только в главных ролях.

Я живо представлял себе тот вечер, когда я должен был поразить свет. Я смотрю со сцены на полный театр, лица у всех сосредоточенные, возбужденные. После каждого моего выхода раздается неумолкаемый взрыв аплодисментов. Я выхожу, раскланиваюсь, шум и крик усиливаются, я ухожу за кулисы, меня вызывают опять и опять, выкрикивают мое имя, машут платками — словом, приходят в дикий, неистовый энтузиазм.

Несмотря на все это, я не написал письма антрепренеру. Один из моих приятелей, немного знакомый с этим делом, отсоветовал мне это, и я послушался его.

На мой же вопрос, как быть и что делать, он ответил:

— Иди к театральному агенту и объясни ему, чего ты желаешь.

Я отправился к двум или трем агентам, рассказал им откровенно, чего желаю; они тоже были очень откровенны со мною и в свою очередь сообщили свои желания; в общем же, все их желания сводились к пяти шиллингам в виде задатка, за что они записывали мою фамилию в какую-то очень толстую книгу. Надо отдать им справедливость, что, хотя ни один из них не отговаривал меня поступать в актеры, но, во всяком случае, и не обнадеживал в удачном исходе их хлопот. Должно быть, мое имя до сих пор красуется в этих книгах у большинства лондонских агентов (надо вам сказать, что я ни к одному из них не заходил справиться насчет результата) и, наверно, когда-нибудь один из них предложит мне первоклассный ангажемент, когда я буду лондонским епископом, издателем большой «модной газеты» или чем-нибудь вроде этого.

Если театральные агенты не содействовали моему

поступлению на сцену, то вовсе не потому, что я пренебрегал ими или мало надоедал им. Я постоянно бегал, как называл в то время, «тормошить» агентов, а этот процесс заключался в том, что я сначала в течение получаса рассматривал альбомы и журналы в приемной комнате, пока не получал приглашения зайти еще раз. Эту повинность я отбывал в известные дни недели. Обыкновенно я вставал утром и говорил себе:

— Ведь нельзя сидеть сложа руки, надо пойти опять «потормошить» этих агентов.

Обыкновенно я говорил себе это очень важно, будучи в полной уверенности, что исполняю серьезное и неотложное дело. Если по дороге я случайно встречал товарища, то здоровался с ним с озабоченной поспешностью, говоря: «Все дела, спешу к своим агентам», останавливался только для того, чтобы пожать ему руку, и быстро продолжал свой путь, оставляя его в полной уверенности, что меня вызвали телеграммой по очень важному делу.

Но мне ни разу не удалось растормошить этих агентов и пробудить в них сознание своих обязанностей; мало-помалу мы почувствовали, что начинаем надоедать друг другу, это обнаружилось особенно явно в то время, когда я поймал двух или трех из них (или, вернее сказать, они меня поймали), систематически надувавших меня и особенно часто высказывавших желание видеть меня еще раз. Контора одной из таких многообещающих, но ничего не исполняющих фирм помещалась на Лейчестер-сквер и имела двух представителей, из которых один всегда был в отлучке и ездил по каким-то очень важным делам. Я помню, они взяли с меня четыре фунта и выдали письменное обязательство доставить мне в Лондоне платный ангажемент в течение одного месяца. В конце месяца я получил очень любезное и длинное письмо от мифического представителя фирмы, постоянно разъезжающего по важным делам. Он сообщал мне, что накануне вернулся в Лондон и нашел дела в ужасном положении. Его компаньон, тот, которому я заплатил четыре фунта, не только гнусным образом надул всех клиентов, взяв с них деньги и не сделав ничего, чтобы доставить им ангажементы, но обокрал его, автора письма, утащив из кассы семьдесят фунтов, и скрылся неизвестно куда. Затем мой корреспондент высказывал всякие сожаления и соболезнования по моему адресу и выразил надежду, что я присоединюсь к нему в уголовном преследовании этого негодяя, когда тот будет пойман. Затем, в конце письма, он еще раз высказывает негодование по поводу негодяя-компаньона, уверяет, что он содрал с меня страшные деньги за такую комиссию, как приискание

ангажемента, и уверяет, что в неделю или самое большее в десять дней провернет это дело за половинную плату, то есть за два фунта. Далее, он просит зайти к нему в тот же вечер. Я не пошел к нему в тот же вечер, а отправился на следующее утро. Придя к конторе, я увидел, что двери закрыты, а на приклеенной бумажке написано, чтобы все письма и бумаги оставлять у хозяина дома. Спускаясь с лестницы, я встретил какого-то господина и спросил его, не знает ли он, где я могу найти кого-нибудь из представителей этой фирмы. На это он мне ответил, что он сам хозяин дома и охотно заплатил бы соверен тому человеку, который бы указал, куда скрылись эти мерзавцы. Впоследствии я несколько раз слышал о проделках этой фирмы и уверен, что она процветает и по сию пору, аккуратно каждый месяц меняя свое название и адрес. Как бы то ни было, меня очень интересует вопрос, всегда ли театральные агенты будут продолжать свои злоупотребления? Может быть, будущее поколение антрепренеров и актеров возьмется за ум, найдет возможность иначе устраивать свои дела и раз навсегда положить конец этому нахальному вмешательству комиссионеров.

Глава II
Я поступаю в актеры

Среди театральных жуликов-агентов есть и такие артисты, которые, называя себя громким именем «Профессоров театрального искусства» или просто «X, У и Z», помешают в газетах публикации, гласящие, что они «могут доставить место в Большом театре на хорошие роли (платный ангажемент) двум или трем актерам или актрисам любителям (почему-то всегда двум или трем, никогда четырем) высокого или среднего роста, красивым или некрасивым безразлично, только с приличной наружностью». На вид эти господа очень опытные и знающие свое дело люди, сразу отличающие настоящий талант. То же было и со мною. Все они в один голос заявляли, что я очень талантливый актер, и главное, такой, какой им нужен; но как им ни жалко, ради моей пользы они не имеют права скрывать правду и должны указать мне на некоторые мои недостатки. Они уверяли меня, что я очень многое обещаю в будущем, сулили мне блестящую карьеру, *«но»* (и, что удивительнее всего, это *«но»* повторяли все поголовно)… но ни разу не высказали даже двух тождественных мнений; каждый из них замечал какой-нибудь иной мой недостаток. Один указывал на мой голос и уверял, что прежде всего я должен серьезно заняться обработкой голоса, если хочу достигнуть полного совершенства. Другой высказывал диаметрально противоположное мнение. Он находил мой голос вполне хорошим и годным для сцены, но указывал на недостаток в шлифовке. Он обещал сразу достать мне хороший ангажемент, если только я поработаю над собою и приобрету более театральные жесты и манеры. Третий, выслушав несколько прочитанных мною отрывков из «Макбета», хлопнул меня по плечу и так расчувствовался, что выразил желание пожать мою руку. Затем со слезами на глазах сказал мне следующее:

— Да, молодой человек, давно я мечтал о таком таланте. Вы и теперь уже великий артист! Но вам недостает шика.

Что он хотел этим сказать, я не мог понять и потому печально пробормотал:

— Вы думаете?

Но он не только думал, а вполне был убежден в этом. Иметь успех без шика невозможно; с шиком же, по его мнению, я в самый короткий срок сделаюсь знаменитостью. Я тут же решил во что бы то ни стало, чего бы это ни стоило, приобрести шик и откровенно сообщил это твердое намерение своему собеседнику,

причем попросил дать мне совет, каким образом я могу этого достигнуть. Он некоторое время молчал, очевидно что-то соображая, между тем как я стоял и тревожно ждал результата его размышлений. Вдруг лицо его просияло, как будто в этот момент ему пришла в голову гениальная мысль. Он дружелюбно положил мне на плечо свою руку и сказал таинственным голосом, каким обыкновенно делают какое-нибудь чрезвычайно важное открытие:

— Приходите ко мне два раза в неделю, по средам и пятницам, от восьми до девяти часов вечера.

Затем он сделал несколько шагов назад, чтобы лучше разглядеть, какое впечатление произвели на меня его слова.

Когда я слегка удивленно спросил его, зачем он приглашает меня приходить к нему два раза в неделю: не для того ли, чтобы учить меня? — он пришел в восторг от моей догадливости и заявил, что именно это он и хотел сказать. Затем он объявил мне (все так же таинственно, как будто ни один человек на свете, кроме меня, не должен знать этой великой тайны), что приобрел большую опытность в преподавании этой отрасли драматического искусства, что у него в письменном столе хранятся благодарственные письма от известнейших актеров и актрис, которые своей славой и положением обязаны только ему одному, так как он один научил и вывел их в люди. Он выразил желание показать мне эти письма и даже сделал несколько шагов по направленно к письменному столу, но потом остановился и извинился, что не может показать их даже мне, к которому чувствует полнейшее уважение и доверие, так как все это частная корреспонденция, которую он просто не имеет права делать достоянием публики. Надо отдать ему должное, он был очень тверд в своих нравственных принципах и никогда ни мне, ни другим лицам, как я слышал, не показывал писем, хотя много было любопытных, которые умоляли его показать им эти письма, хоть издали.

Но я, наученный горьким опытом или, вернее, жуликами-агентами, ушел, не оставив ему вперед пять фунтов в виде задатка, хотя он и говорил, что я, «как знакомый с этим делом», должен понимать, что это весьма умеренная плата, что с других он берет не меньше двадцати гиней и что, только принимая во мне живейшее участие, делает такое одолжение.

Есть еще один класс театральных агентов, которые особенно удачно ловят новичков, жаждущих поступить на сцену; это «антрепренеры», имеющие свободные места для любителя актера или актрисы в избранном обществе артистов. Едва только они взглянут на вас, как уже оказывается, что им нужен именно такой талант, и вам сейчас же вручается главная роль в какой-нибудь

популярной пьесе.

Обыкновенно жертва, попавшаяся на такую удочку, не верит своему счастью и недоумевает, что бы это могло значить. Она делает всевозможные предположения, не произошла ли какая-нибудь ошибка, не подшутили ли над ней для увеселения всей труппы или, наконец, начинает предполагать, что антрепренер очень умный и опытный человек, с первого взгляда определяющий, есть ли у человека талант к драматическому искусству или нет. Спросить кого-нибудь она не решается, чтобы не испортить дела и не уронить своего достоинства. Ведь могут заметить, что она не доверяет своим способностям, могут потребовать назад роль, а этого она вовсе не желает, потому что, хотя и сознает отлично, что с большим успехом сыграла бы всякую другую роль, только не эту, тем не менее не хочет упускать так легко доставшееся счастье. Я только один раз попался на удочку такого антрепренера, говорю — такого рода обманщика-антрепренера, потому что есть еще много и других, с которыми очень хорошо знакомы актеры. Никому не желаю, даже злейшему своему врагу, иметь с ними дело. Шесть таких же дураков, как и я, откликнувшихся на газетную публикацию такого антрепренера, собирались каждый вечер для репетиций в отведенном помещении на Ньюман-стрит. Кроме нас, труппу этого антрепренера составляли еще четыре известных актера, которые в данное время уехали на гастроли в провинцию. В начале следующей недели, по словам антрепренера, они должны были вернуться в Лондон, и тогда все мы в полном составе поедем давать представления в Гравезенд. Я был ангажирован этим антрепренером за плату один фунт и пятнадцать шиллингов в неделю, и мне поручена была роль короля в «Гамлете» и еще небольшая роль в другой пьесе. Все шло как по маслу. Ничто не возбуждало ни малейшего подозрения, так что даже я успокоился, хотя был крайне осторожен и недоверчив после стольких предыдущих неудач. Я был даже в полной уверенности, что здесь нет никакого обмана и дело ведется начистоту. Но и тут я жестоко ошибся; фокус скоро обнаружился. На пятой репетиции наш антрепренер был очень ласков с нами и особенно оказывал внимание мне, хвалил меня и уверял, что я замечательно оригинально и сильно провожу роль короля. Во время перерывов он неоднократно подходил ко мне и, фамильярно облокотившись на мое плечо, разбирал некоторые места пьесы и делал собственные замечания. Мы немножко не сходились с ним насчет роли короля. Он расходился со мной во мнении относительно двух или трех мест, но, когда я с жаром стал доказывать, на каком основании в этих местах надо играть так, как я играю, а не

иначе, он изменил свой взгляд и вполне согласился со мною. Затем, между прочим, он спросил меня, какой я думаю сделать костюм для роли короля. Об этом я много думал еще раньше, чем приступить к изучению роли, поэтому сейчас же стал описывать этот костюм до самых мельчайших подробностей. Он вполне одобрил мой вкус и понимание своей роли и только раз или два заметил вскользь, что такой пышный костюм будет немножко дорого стоить. Он вполне соглашался со мною, что главным образом надо обратить внимание на то, чтобы был соблюден стиль. Затем он стал высчитывать, во сколько обойдется этот костюм, и сказал мне, что имеет возможность сделать его очень дешево, гораздо дешевле, чем кто-либо другой, потому что у него есть очень добросовестный приятель, который возьмет с него лишь столько, сколько действительно стоит один материал. Я порадовался за него, но так как меня это очень мало интересовало, то хотел переменить тему разговора. Но антрепренер не унимался и заявил, что всего-навсего весь костюм будет стоить девять фунтов.

— Это очень дешево, — сказал он, — притом имейте в виду, что он будет сделан из самого лучшего и прочного материала, так что вы можете пользоваться им без конца.

Я опять согласился с ним, заметив, что такой богатый костюм стоит этих денег, только удивлялся, зачем он мне все это говорит, ибо какое мне дело до его расходов.

Но здесь-то все и открылось. Он спросил меня самым непринужденным тоном, когда я заплачу эти деньги — сейчас после репетиции или в следующий раз.

— Что, мне платить! — воскликнул я, пораженный. — За что?

— Как за что? — ответил он. — За ваш костюм. Не можете же вы играть без костюма, а если станете его заказывать сами, то вам он обойдется минимум на четыре фунта дороже. Может быть, у вас нет сейчас с собою всех денег, — продолжал он ласково, — тогда дайте мне, сколько можете, а я в свою очередь постараюсь, чтобы мой приятель подождал немножко с остальной суммой.

Как я узнал потом, из моих товарищей трое уже заплатили ему почти по пяти фунтов каждый, а четвертый собирался отдать на следующий день четыре фунта десять шиллингов. Я и еще один актер-любитель решили сейчас не платить и подождать, что будет дальше. К счастью, нам недолго пришлось ждать. Четырех известных актеров этой труппы, гастролирующих в провинции, мы так и не дождались, антрепренер исчез куда-то, так что ни мы двое, ни тем паче те, которые заплатили за костюмы деньги, никогда его больше не видели.

Тогда я решил устроить свою карьеру и добиться желаемого

без всяких театральных агентов и газетных объявлений. Тот товарищ, который отсоветовал мне писать письма антрепренерам с просьбой принять меня в свою труппу, сказал, что самое лучшее пойти самому в «Западный артистический кружок» и там попытать счастье. Я послушался его совета и пошел туда в полной уверенности, что каждый актер должен знать этот «Западный артистический кружок», хотя он всеми силами старается скрыть свое существование от любопытных людских взоров, помещаясь где-то на грязном заднем дворе. Здесь я застал целое общество очень милых, остроумных людей, ни разу даже не выказавших желания выпить на мой счет. Когда же я объяснил им цель моего прихода и страстное желание поступить на сцену, они посмотрели на меня с видом сильного сожаления и, печально покачивая головами, изобразили и открыли мне все невыгодные стороны своей профессии, словом, всячески хотели удержать меня от этого необдуманного шага. Но я стоял на своем и смотрел на них как на эгоистов, которые хотят загубить молодой талант и боятся опасного соперника. Я не послушался бы их даже в том случае, если бы был вполне уверен, что они от чистого сердца советуют мне не поступать на сцену. Каждый человек думает, что его должность, занятие или ремесло самое неблагодарное и трудное — таков уж закон природы. Поэтому, кто станет ожидать, пока ему не посоветуют поступать на какую-нибудь должность или взяться за какое-нибудь дело, тот может весь век просидеть, ничего другого не делая, как только вертя и перебирая большими пальцами. Вот почему я не обратил на них никакого внимания и продолжал настаивать до тех пор, пока не нашелся один добрый человек, который согласился помочь мне.

Это был толстый, на вид очень вялый и неуклюжий человек, вся цель жизни которого, казалось, состояла в шотландском виски и больших сигарах, отчего он всегда был, что называется, на втором взводе. У него была очень дурная привычка подходить почти вплотную к тому человеку, с которым он разговаривает, и дышать ему прямо в лицо, что, при постоянном специфическом запахе виски, смешанном с сигарным дымом, было не особенно приятно. Когда-то он сам был антрепренером, но каким образом он добывал средства к существованию в то время, когда я с ним познакомился, для меня всегда оставалось тайной, потому что, хотя он и снимал небольшую грязную комнату где-то на заднем дворе на боковой улице, выходящей к Стрэнду, и называл ее громким именем — «контора», тем не менее днем никогда там не сидел и только приходил туда на ночь. Как бы то ни было, он очень хорошо был знаком со всеми посетителями и завсегдатаями «Западного артистического кружка», следовательно, имел

большие связи и знакомства в театральном мире, а этого мне только и надо было. Положим, впоследствии я узнал, что все его очень хорошо знали и потому мало уважали, но какое мне было дело до этого. Сначала он, так же как и другие, отнесся скептически к моему страстному желанию поступить на сцену; но когда я упомянул, что готов дать приличное, хотя и не очень большое вознаграждение тому, кто согласится мне помочь получить какой-нибудь ангажемент, он как будто смягчился и не находил уже тех препятствий, какие выставлял минуту назад. Когда же я определил сумму, которую готов был дать за хлопоты, он прямо пришел к заключению, что это очень легко устроить. Он даже не видел препятствий, почему бы мне впоследствии не приобрести в театральном мире славы и громкого имени, если я соглашусь отдать себя в его полное распоряжение.

— Мне уж не раз приходилось оказывать многим людям такие услуги, — говорил он, — почему бы мне не услужить и вам, если вы мне нравитесь. У меня был знакомый, — продолжал он, становясь все более и более разговорчивым, — он получает теперь восемь фунтов в неделю. Черт возьми, этот человек всецело мне обязан своей карьерой. Если бы не я, он сидел бы теперь где-нибудь в провинции и был бы захудалым провинциальным актеришкой. Нет, подумайте только, я знал его, когда он получал за свои труды всего только двадцать два шиллинга; я перетащил его в Лондон, выхлопотал Уэст-Эндский театр и не оставлял его своей протекцией до тех пор, пока он не пробился в люди и не сделался знаменитостью. И можете себе представить, теперь, проезжая мимо в собственной карете, он делает вид, что не узнает меня.

И при этих словах лицо моего нового друга приняло такой печальный вид, он так искренно жаловался на неблагодарность человеческой природы, что мне стало жалко его.

— Да, сэр, — продолжал он, глядя на меня поверх очков, — я многим протежировал, почему бы мне и на сей раз не помочь вам?

Так как я ничего не имел против того, чтобы он помог мне, то он и решил этот вопрос в утвердительном смысле; он даже был в полной уверенности, что я поступлю не лучше других и забуду его, как только пробью себе дорогу. Я, насколько мог, старался разубедить его в этом, уверял, что никогда не забуду его, даже тогда, когда сделаюсь великим человеком, и с жаром потряс его руку. Я действительно был очень благодарен ему за то участие, которое он принял во мне, и потому мне было очень неприятно, что этот человек подозревает меня в таких низких чувствах, как неблагодарность или недоброжелательство.

Я встретил его на следующий день, и он с радостью объявил мне, что устроил дело. Он достал для меня ангажемент у одного своего знакомого антрепренера и обещал познакомить с ним на следующий день, когда приготовит и составит контракт. Поэтому он попросил меня быть у него в конторе ровно в одиннадцать часов и принести с собой деньги. Таков был приказ этого господина.

Услышав это, я не пошел, а в полном смысле слова полетел домой. Широко распахнув двери, я вихрем взлетел на лестницу, но я был слишком взволнован, чтобы спокойно сидеть дома. И пошел обедать в первоклассный ресторан, после чего мои карманные деньги значительно уменьшились.

«Не беда, — думал я, — стоит ли горевать о каких-то шиллингах, когда я скоро буду получать сотни фунтов».

Затем я отправился в театр, но мысли мои были направлены совсем в другую сторону, так что, если бы меня спросили, в каком я был театре и что шло на сцене, я не мог бы сказать этого. Все время я критиковал актеров и думал только о том, насколько лучше каждого из них буду играть сам, Я мечтал о том, как меня будут любить и уважать все актеры и актрисы, когда я поступлю на сцену, как буду ухаживать и пользоваться успехом у примы труппы и как все актеры будут с ума сходить от злости и ревности. Потом я вернулся домой, но всю ночь пролежал с открытыми глазами.

Чтобы поспеть к назначенному сроку, то есть к одиннадцати часам, я встал на следующее утро в семь часов и быстро позавтракал. Каждую минуту я смотрел на часы (хотел бы я знать, где они, эти часы, теперь!) и, наконец, не утерпев, вышел на улицу. На Стрэнде я был уже около десяти часов и стал шагать взад и вперед на небольшом его расстоянии, боясь слишком далеко уйти от конторы. По дороге я купил пару новых перчаток, как сейчас помню, они были цвета лососины; одна из них сейчас же лопнула, как только я стал натягивать ее на руку; поэтому я надел одну только целую, а другую нес в руках. Без двадцати минут одиннадцать я свернул в переулок, где была контора, и стал шагать подле конторы с неприятным ощущением, что все живущее следит за мною, смотрит из-за каждой занавески и шторы и удивляется, чего я здесь шатаюсь. Время тянулось невыносимо долго: казалось, что одиннадцати часов никогда не будет. Но башенные часы наконец стали бить одиннадцать, и я вошел в ворота, нарочно делая вид, как будто только что пришел и очень тороплюсь.

Подойдя к конторе, я увидел, что двери заперты и никого нет. Сердце мое так и упало. Неужели опять обман? Неужели опять

придется переживать жестокое разочарование? Уж не убили ли антрепренера? Не сгорел ли его театр? Почему они не пришли сюда? Должно быть, случилось что-нибудь очень важное, потому что, в противном случае, они не стали бы опаздывать при таком серьезном деле. С добрых полчаса я простоял у конторы в самом тревожном состоянии томительного ожидания; наконец, они пришли и высказали предположение, что, должно быть, не заставили меня ожидать их слишком долго, на что я ответил:

— О, нисколько! — и пробормотал, что только-только пришел.

Как только мы вошли в маленькую контору, я был представлен антрепренеру, который оказался известным актером; я неоднократно видел его на подмостках, но теперь никак не мог признать в нем того самого талантливого актера; он скорее был похож на его сына, с этим я бы еще мог согласиться. Он оказался гораздо меньше ростом и несравненно моложе, чем я представлял себе его. Замечательно, как чисто выбритое лицо молодит человека. Трудно поверить, чтобы мальчики, которых я видел на репетиции, могли играть роли пожилых семейных людей.

Во всяком случае, мой будущий директор не оправдал моих ожиданий. Одежда его совсем не соответствовала тому положению, которое он занимал, и вся фигура его, откровенно говоря, имела очень жалкий вид. Чтобы успокоить себя и объяснить себе причину, почему директор театра, антрепренер носит такой бедный, рваный костюм, я старался вспомнить все истории о странных выходках миллионеров, которые любят ходить в рубищах; я вспомнил также, как встретил однажды мать одной первоклассной артистки и большой знаменитости и был поражен ее убогим одеяньем.

Контракт оказался совсем готовым, и мы с директором подписались под ним. Затем я передал протежирующему меня толстому господину десятифунтовый банковый билет и, в свою очередь, получил от него расписку в получении денег. Все было сделано вполне формально, так что ни к чему нельзя было придраться. Контракт был составлен по всем правилам, притом очень полно и аккуратно. На основании этого контракта первый месяц я должен был служить без жалованья, а потом мне будет назначено жалованье *«соответственно обнаруженным способностям и таланту»*. Иначе, по-моему, и нельзя было составить условия.

Затем директор предупредил меня очень любезно, чтобы я не рассчитывал на очень уж большое жалованье, максимум тридцать шиллингов в неделю, по крайней мере первые три месяца, и вообще, что все будет зависеть от меня лично и от моих

способностей. В этом отношении я был немножко не согласен с ним, но не возражал, решив, что гораздо лучше, если он сам убедится. Поэтому я сказал ему, что ничего не желаю больше, как того, чтобы со мной хорошо обращались и были справедливы. Такой ответ, очевидно, ему очень понравился. Он объявил мне, что летний сезон начинается через три недели, поэтому через неделю надо уже начинать репетиции. Таким образом, еще одну неделю я был *ничто*; а затем уже сделался *артистом*!!![1]

Глава III
На пороге театральных дверей

Приглашение явиться на первую репетицию я получил почти за неделю до открытия театра. На повестке было обозначено, что в одиннадцать часов утра вся труппа актеров в полном составе должна явиться в театр; за несколько минут до означенного часа я уже стоял на дежурстве около театральных дверей.

Нельзя сказать, что здание театра помещалось на завидном месте; оно находилось где-то на отдаленной улице, с грязной парикмахерской с одной стороны и мелочной лавчонкой с другой. Весеннее солнце освещало эту картину и делало ее еще более печальной и непривлекательной; чтобы хоть немножко успокоить свои взволнованные нервы, мне пришлось вспомнить сказочные описания дворцов и чертогов королей и царевичей. Чем скромнее и проще ворота и двери, через которые проходит в свои чертоги принц, тем пышнее и поразительнее роскошь, господствующая внутри их. Так рассказывается в сказках, и в данном случае я готов был поверить им. Но разочарование наступило сейчас же после того, как я переступил порог театра.

Рассуждать было некогда, одиннадцать часов уже пробило минуты две тому назад, и я был в полной уверенности, что вся труппа уже в сборе и ждет меня. Поэтому я нервно нажал ручку двери и…

Тут я должен сделать маленькое отступление. Прежде чем открыть двери и осветить маленький мир, находящийся за ними, позвольте мне сказать несколько предварительных слов.

Театральный мир очень велик.

Бесконечно большое пространство лежит между каким-нибудь первоклассным лондонским театром и любой странствующей труппой актеров. Столь же велико и различие между ними. Мое знакомство с театральным миром ограничилось двумя или тремя театриками последнего типа и не распространилось на первоклассные театры.

Моя недолгая артистическая карьера протекла среди маленьких лондонских театров и в обществе второклассных и третьеклассных странствующих трупп; поэтому я буду писать, имея в виду эти и только эти театры. Но свои наблюдения я буду передавать вполне искренне и откровенно, не преувеличивая, но и не умаляя их достоинств и недостатков. Быть может, я найду необходимым сделать в своих комментариях несколько более или менее различных и основательных замечаний: указать актерам и

актрис сам, что и как они должны делать, объяснить директорам театров, как они должны исполнять свои обязанности, и вообще дать несколько хороших советов. Поэтому-то, прежде чем приступить к делу, я и нахожу нужным предупредить, что мои замечания будут относиться к знакомой мне части театрального мира. Что же касается таких лондонских театров, как, например, Лицеум или Сент-Джеймский театр, то управление ими ведется совершенно правильно, и именно так, как управлял бы я сам, если бы меня назначили директором. Я не нахожу и даже не могу находить в этих театрах никаких недостатков, потому что, во всяком случае, не стал бы писать о том, чего не понимаю. Положим, это довольно эксцентричное решение для писателя, но что же делать, если я люблю быть оригинальным. Теперь, после такого предисловия, откроем дверь и войдем внутрь театра.

За стеклянной перегородкой сидел маленький сгорбленный старикашка и поджаривал на медленном огне копченую селедку. В это утро я был в особенно радужном настроении духа и чувствовал расположение и симпатию ко всему живущему на свете, даже к этому старому хрычу.

— Доброго утра. Какая прекрасная погода, не правда ли?

— Закрывайте двери, а не то убирайтесь прочь, — гневно прошамкал он своим беззубым ртом.

Я был так огорошен подобным приемом, что машинально закрыл двери и стоял, не двигаясь с места, в ожидании, пока он не кончит жарить свою селедку. Когда же селедка была готова, я попробовал еще раз подступиться к нему. Я сказал ему свою фамилию, конечно, не настоящую, а ту, которую принял для сцены. Ведь все актеры играют под чужими фамилиями, хотя зачем они это делают, не понимаю, да и сами они, вероятно, не знают. Случайно вышло так, что один из моих товарищей по сцене играл под моей настоящей фамилией, а я под его фамилией. И оба мы были счастливы и довольны собою до тех пор, пока не встретились и не познакомились друг с другом; но с этих пор мы разом почему-то переменили свои взгляды на жизнь, перестали видеть все в розовом цвете и стали замечать все неприглядные стороны и всю пустоту жизни.

Но моя фамилия не произвела никакого впечатления на этого театрального цербера. Тогда я выпустил свой последний заряд и объявил, что я артист. Это заставило его вскочить со своего места, словно электрический ток пробежал по всему его телу; он был до того взволнован, что наконец решился отвести свой взор от селедки и вперил его в меня. Насмотревшись вдоволь, он прошамкал:

— В конце двора.

И, сказав это, он повернулся ко мне спиной, должно быть, для того, чтобы опять приняться за завтрак; такого страшного и злого выражения лица я никогда до тех пор не встречал.

Из такого лаконичного ответа я заключил, что где-нибудь поблизости находится двор, который надо сперва найти, а потом пройти в самый конец его. Я отправился на поиски и наконец нашел его благодаря счастливой случайности. Дело в том, что где-то в коридоре я наступил на кошку, чуть было не упал и головой толкнул дверь, которая сама собою открылась и обнаружила выход во двор. Не успел я сделать по двору несколько шагов, как со всех сторон был окружен дюжиной разновидностей кошачьей породы. Очевидно, они были сильно голодны и потому встретили меня с энтузиазмом, приняв за кошатника, на которого тем не менее я нисколько не был похож. В театрах держат кошек для того, чтобы меньше было крыс, но сами кошки так быстро размножаются, что приносят гораздо больше вреда, чем крысы; приходится держать особого человека, который бы охлаждал их пыл. Эти кошки обыкновенно очень интересуются драмой и выбирают самое трогательное и душераздирающее место в пьесе для того, чтобы выйти на середину сцены и совершить свой вечерний туалет. Пройдя, как было указано, весь двор и через какой-то длинный, темный коридор, я очутился в громадном мрачном подвале, где гулко прозвучало эхо моих шагов и мелькали какие-то странные, бесформенные тени. Так, по крайней мере, мне показалось.

Теперь я не помню, какое у меня составилось представление о «закулисной обстановке», прежде чем я побывал в театре. Обстановка, представившаяся моим глазам, так поразила и обескуражила меня, что все прежние представления сразу бесследно изгладились из моей головы. Составил же я себе эти представления, во-первых, на основании занимательных этюдов Довера Вильсона, где прелестные создания (в своих национальных костюмах) грациозно стоят, прислонившись спиной к декорации, изображающей ландшафт, и заложив одна за другую свои прелестные ножки; затем со слов моих приятелей, которые уверяли, что были за кулисами, и, наконец, на основании собственного, довольно-таки живого воображения. Как бы то ни было, печальная действительность сразу разрушила все мои ожидания. Я никогда не предполагал, что пустой театр при дневном освещении или, вернее, при дневной темноте может представлять такую печальную картину. Нет, даже после ужина, хорошего бифштекса и бутылки портера.

В первый момент я ничего не мог различить; затем понемногу глаза привыкли к темноте, и я разглядел окружающие меня

предметы. Декорации (можете себе представить, какие можно ожидать декорации от театра, где первый ряд кресел стоит три шиллинга, а места в райке четыре пенса) были покрыты грязным-прегрязным полотном. Пюпитры и стулья лежали в оркестре, сваленные в одну кучу. Контрабас в зеленом чехле валялся в углу; словом, все это производило впечатление, как будто ночью они давали представление за собственный счет, после чего напились допьяна. Еще больше подтверждалось такое мнение при взгляде на раек, который был виден со сцены, хотя находился где-то далеко от нее, чуть ли не за целую милю; весь барьер его был уставлен массой пустых бутылок, грязными оловянными кружками и стаканами. Повсюду были куски изорванной, заштопанной декорации, представлявшей ни больше ни меньше, как какую-то непонятную мазню; часть ее стояла на больших деревянных подпорках, усеянных мухами; другая часть была прислонена к стенам или валялась под ногами, а то и висела над головой. Посередине сцены стоял очень шаткий столик, на нем пустая бутылка из-под пива с воткнутым в нее свечным огарком. Одинокий луч солнца, пробравшийся через щель, немного осветил это мрачное царство и обнаружил на всех предметах огромный слой пыли. Какая-то женщина, очевидно сильно простуженная, что можно было заключить по ее тяжелому кашлю, мела партер, а какое-то незримое существо, как я догадался, какой-нибудь мальчишка, спрятавшийся в артистической уборной, оглашал воздух пронзительным свистом. Уличный гул доносился очень глухо, но стук, произведенный хлопнувшей дверью или упавшим стулом внутри театра, производил такой шум и треск, что даже пауки в страшном испуге разбегались во все стороны.

Глава IV
За кулисами

Целых полчаса я провел в одиночестве на сцене. Все артисты непременно должны опаздывать — таков уж театральный этикет. Степень важности и уважения, которую надо оказывать тому или другому актеру, легко определить по времени, на которое он опаздывает на репетиции.

Актер, опаздывающий на двадцать минут (конечно, я не говорю об актрисах; известное дело, женщины всегда опаздывают, по крайней мере, на час) имеет не очень большое значение в труппе, но все-таки может быть полезен. Театральные же светила заставляют себя ждать целые полтора часа, а то и больше.

Но я не потерял даром времени и очень мило провел его, занимаясь осмотром театра и залезая всюду, куда только можно было залезть. По шаткой деревянной лестнице я взобрался в раек и оттуда посмотрел на сцену вниз с высоты пятидесяти футов. Тут я карабкался и бродил между лестницами, небольшими платформами, канатами, блоками, газовыми рожками, пивными кружками, то и дело натыкаясь в темноте на какой-нибудь предмет и поднимая целый столб пыли. Затем, по другой лестнице, ведущей еще куда-то наверх, и по очень узкой доске я перебрался на другую сторону сцены над целым лесом висящих декораций.

Вернувшись назад, я пробрался в отделение художника, где пишутся декорации. Это было не что иное, как длинный, узкий чердак на высоте сорока футов над сценой. С одной стороны его помещалось большущее полотно или, вернее, простыня, закрывающая всю боковую стену снизу доверху. Эта простыня — полотно, на котором художник уже начал писать декорацию, — была подвешена на блоках у самой крыши театра и могла спускаться или подниматься на какую угодно высоту, по желанию.

Не могу не объяснить вам устройство этой комнаты нагляднее. Возьмите самый большой и лучший женин сундук (улучите момент, когда ее не будет дома), оторвите совершенно верхнюю крышку и приставьте его к опущенной шторе, висящей на окне, так чтобы эта штора заменила верхнюю, оторванную крышку. Вот и все. Сундук будет изображать мастерскую художника, а штора — полотно.

Здесь была масса света и красок (последняя в ведрах). Длинный, большой стол, занимающий почти всю мастерскую, был

завален кистями, кисточками и щетками. На полу валялась огромная палитра, простая мраморная доска величиною в шесть футов, и на ней кисть, обмокнутая в краску небесного цвета. Величина и форма кисти очень напоминала собою простой веник. Осмотрев все эти вещи, я покинул студию и спустился вниз. Немного ниже помещалась гардеробная. Здесь я ничего интересного не нашел. Теперь костюмы обыкновенно берутся напрокат у костюмеров, которые в огромном количестве ютятся около театров «Ковент-Гарден» и «Друри-Лейн». У них можно найти все что угодно.

Несколько лет тому назад театры еще шили собственные костюмы. Теперь этот обычай сохранился в некоторых старомодных провинциальных театрах, составляющих исключение из общего правила. Здесь же, в этой гардеробной, я нашел несколько пар широких панталон, штук шесть медных заржавленных шлемов, целую кучу сваленных в углу бутафорских сапог частью на правую, частью на левую ногу — каждому желающему их надеть предоставлялась полная свобода выбора, несколько штук жилетов красного и синего цвета с желтоватыми крапинками, вообще, всякого рода вещи, которые, якобы необходимы йоркширским жителям, являющимся в Лондон и желающим остаться незамеченными, как, например: длинный черный плащ; тут же был целый подбор костюмов, украшенных блестящей мишурой и другими блестками. Все эти вещи в данное время имели очень жалкий вид и представляли жалкие остатки прежнего величия.

Между сценой и двором помещалась большая комната, в которой я нашел столь разнообразную коллекцию всяких вещей и предметов, что принял ее за лавку, доходами которой субсидируется и поддерживается театр. Как бы то ни было, но здесь можно было найти только театральные принадлежности; вещи были исключительно бутафорские или, во всяком случае, необходимые для благолепия драм. Постараюсь перечислить все эти вещи, насколько я успел их запомнить. Здесь было изрядное количество жестяных кубков, выкрашенных внутри почти до краев черной краской, чтобы они со сцены казались наполненными какой-нибудь живительной влагой. Это те кружки, которые составляют необходимую принадлежность всех попоек, устраиваемых счастливыми крестьянами, или комической оргии какого-нибудь короля или принца. Как в тех, так и в других случаях для всех времен и столетий употребляются всегда одни и те же кружки. Благодаря этой доброй черте характера природы (театральной) и склонности ее к однообразию кажется, что всё и все на свете родственны друг другу. Например, те же кружки

употребляют одинаково как эскимосы, так и готтентоты. Римский воин, казалось, никогда не знал других кружек для вина; без тех же кружек Французская революция лишилась бы своей главной характеристической черты. Кроме этих простых кружек были еще золотые и серебряные кубки, употребляемые только на парадных банкетах или для самоубийства людьми высшего сословия. Здесь же валялись пустые бутылки, стаканы, кувшины и графины. Приятно было отвлечь свой взор от этих необходимых атрибутов пьяных оргий и распущенности нравов и полюбоваться изящным сервизом на покрытом белой скатертью подносе, при одном взгляде на который живо представлялись все прелести семейной жизни. Здесь была полная домашняя обстановка — пара столов, кровать, шкаф для платья, софа, стулья, кажется, полдюжины, с высокими спинками, какие можно встретить в богатых старинных домах. Но дело в том, что эти стулья только издали казались такими, на самом же деле представляли самую грубую фальсификацию, потому что их спинки были сделаны из тяжелых досок, приклеенных и прибитых к обыкновенным легким, венским стульям. В результате же получалось, что они ежеминутно, вследствие своей крайней неустойчивости, падали при каждом прикосновении к ним, так что когда они появлялись на сцене, то главная обязанность актеров состояла в том, чтобы их постоянно поднимать и всячески стараться заставить стоять на месте.

Помню, как в день открытия театра один из наших актеров до того разошелся, что в забывчивости сел на один из этих стульев. Он только что сказал что-то очень смешное и с важностью опустился на стул, заложив одну ногу на другую, и облокотился на спинку в самой небрежной позе. Но не прошло и одной минуты, как он полетел навзничь, любезно предоставив публике в течение пяти минут любоваться его болтающимися в воздухе ногами.

Остальная театральная обстановка состояла из трона, обклеенного золотой и серебряной бумагой и разноцветным коленкором, из грозно топившегося камина, огонь которого должны были изображать накрашенные на коленкоре желтовато-красные языки, из зеркала или, вернее, серебряной бумаги, наклеенной на картон, вставленный в рамку, из связки тюремных ключей, боевых рукавиц, железных доспехов, винтовки, половой щетки, штыка, пик и ломов для выведенного из терпения, разъяренного простого народа, из глиняных трубок, деревянных мечей, театральных палашей (описывать их не стоит, так как они всем хорошо известны), из особенных, употребляемых только на сцене и нигде ни одним народом боевых секир, из подсвечников, одного или двух фунтов коротких свеч, из царской короны,

усеянной бриллиантами и рубинами, каждый величиною с утиное яйцо, из колыбели — пустой и очень нарядной на вид, из ковров, чайников, гроба, котлов и горшков, из носилок, колясочки, из пучка моркови, из ручной тележки зеленщика, из знамени, из копий, свиного окорока и большой куклы, — одним словом, здесь можно было найти все, что необходимо для устройства пышного дворца или чердака, скотного двора или бранного поля.

Затем я отправился дальше и подошел к люку в полу сцены, спустился туда и исследовал страну, откуда появляются прелестные феи и куда проваливаются ужасные демоны. Здесь было совершенно темно и ничего нельзя было разглядеть. В этой заманчивой в воображении стране пахло затхлостью и сыростью, а кроме того, на каждом шагу попадались какие-то снаряды с замечательно острыми углами. Проблуждав здесь ощупью порядочно долго, я ужасно обрадовался, когда наконец нашел выход и решил все дальнейшие исследования делать не иначе, как со свечой.

Выбравшись из этого подземелья, я увидел, что актеры уже начали собираться. На сцене взад и вперед шагал какой-то угрюмый и очень толстый господин; я поклонился ему. Это был режиссер, и потому не удивительно, что он так раздраженно, если не свирепо, ходил по сцене. Не понимаю, отчего все режиссеры такой сердитый и раздражительный народ.

Затем на сцену мелкой рысцой выбежал на вид очень важный маленький человечек, который, как я потом узнал, был лучший комик в нашей труппе, игравший во всех фарсах первые комические роли. Но с первого взгляда, по его деревянному выражению лица, никак нельзя было признать в нем такого таланта. Наоборот, он скорее был похож на человека, у которого начисто отсутствует юмор, или же на оперного либреттиста.

Вслед за ними вошел «резонер», разговаривающий грубым голосом с добродушным на вид молодым человеком, игравшим роли молодых, которых не мог сыграть наш режиссер. После них, спустя некоторый промежуток времени, вошла болезненная маленькая дама, которая всегда ходила с палочкой и жаловалась на ревматизм; выйдя на сцену, она обыкновенно сейчас же садилась на какую-нибудь покрытую мхом скамеечку, с которой ничто ее не могло заставить встать до тех самых пор, пока не приходилось идти домой. Она исполняла роли «старух» и «старых дев». В свое время она играла все роли без исключения и готова была бы играть их и теперь, если бы только ей предложили или позволили их играть. Например, она играла роли Джульетты и няньки Джульетты и, надо отдать ей справедливость, исполняла их одинаково хорошо. Перегримировывалась она замечательно

быстро и притом так искусно, что вы, сидя в партере, не дали бы ей на вид больше двадцати лет от роду.

Потом появился джентльмен в изящном пальто, лакированных ботинках, белых штиблетах и лайковых перчатках лавандового цвета. Он размахивал тросточкой с серебряным набалдашником, в левом глазу его был монокль, во рту сигара (конечно, он вынул ее изо рта, как только вышел на сцену), а в петлицу его пальто была вставлена маленькая бутоньерка. Впоследствии я узнал, что он получает тридцать шиллингов в неделю. Вслед за ним сейчас же вошли две дамы (они не имели на него никаких видов; их одновременный приход совпал совершенно случайно). Одна из них была худа, как щепка, и бледна; сквозь ее нарумяненные щеки отчетливо просвечивала морщинистая дряблая кожа, и, в общем, она скорее была похожа на многосемейную, состарившуюся от забот и тяжелой работы даму, чем на актрису. Ее спутница была очень полная, прекрасная сорокалетняя дама с явными признаками фальсификации как лица, так и бюста. Описывать ее костюм я не берусь, потому что никогда не могу запомнить, как были одеты дамы. Знаю только одно, что она произвела на меня впечатление, как будто у нее весь бюст был подложен; спереди — страшных размеров грудь, сзади наверчена масса бантов, кружев и лент, на голове целая пирамида, затем шлейф, и все это таких больших размеров, что она казалась в четыре раза больше своей натуральной величины. Увидев ее, все, даже такое независимое лицо, как режиссер, пришли в такой неописуемый восторг и встретили ее с такой неудержимой, по крайней мере на вид, радостью, что я был в полной уверенности, что эта женщина — олицетворение всех человеческих добродетелей. Однако несколько колких замечаний, отпущенных на ее счет, поставили меня в тупик, пока я не узнал, что это жена директора нашей труппы. Она считалась премьершей нашего театра и играла все эффектные роли, в которых действительно была эффектна. Больше всего она любила играть молодых героинь или невинных девушек, которые умирают во цвете лет и попадают в рай.

Затем труппа состояла еще из двух стариков, одного толстяка средних лет и двух недурненьких молодых девушек, очевидно, обладающих неиссякаемым количеством юмора, потому что они все время держались друг около дружки, хохоча и хихикая в платок. Последним, как и следует быть, пришел антрепренер, который показался мне менее интересным субъектом по сравнению с предыдущими. На меня решительно никто не обратил внимания, несмотря на то что я все время старался как можно чаще попадаться всем на глаза; положение мое не скажу

чтобы было очень завидное, я чувствовал себя так же неловко, как вновь поступивший в школу ученик.

Когда все собрались, на середину сцены был вынесен стол, вслед за тем прозвучал звонок. В тот же момент откуда-то появился маленький мальчик и стал раздавать «роли». В руках у него находилось несколько рукописных тетрадей, по которым, должно быть, уже очень много раз играли, потому что все они, кроме одной свеженькой, были грязны и истрепаны. Когда очередь дошла до этой новенькой тетрадки, мальчик, очевидно, стал в тупик, не зная, кому она принадлежит. Но скоро он разрешил свое недоразумение и, стоя в середине сцены, громко прочел написанное на ней имя, и, так как имя это оказалось мое, то я вышел вперед и взял ее из рук мальчика. С этой минуты я сразу стал известен всем присутствующим и потому почувствовал себя гораздо удобнее и лучше.

Глава V
Репетиция

Я поспешно развернул тетрадку, сгорая нетерпением узнать, какую мне дали роль; кроме того, я хотел сейчас же приступить к ее изучению. Времени оставалось немного, всего только одна неделя, а за это время мне надо было хорошенько вникнуть в характер своей роли, изучить жестьц движения да, наконец, и выучить самую роль. Медлить было некогда. Вот дословно, что я прочел в тетрадке:

Джо Дженкс
Действие I, явл. 1-е.
…возвращается домой.
Джо Дж. — *Ужасная ночь.*
…если он сделает.
Дж. Дж. — *Да. Да.*
…стоит позади.
Вместе. — *Вот он!*
Падает в конце действия.
Действие IV, явл. 2-е.
Принимает участие в шуме.

В это утро я был, что называется, в ударе, тем не менее не мог понять, как можно произвести сенсацию такой маленькой ролью. Мне казалось, что они пренебрегают или не доверяют моему таланту, потому что с такой ролью мог бы справиться самый посредственный, если не скверный актер. Что же, думал я, им же хуже, а не мне. Во всяком случае, я ни единым словом или движением не показал, что недоволен ролью, и стал обдумывать, как бы лучше сыграть ее и вложить в изображаемый характер как можно больше чувства и жизни. Но я был неправ и, наоборот, должен был гордиться полученной ролью, потому что, как я впоследствии узнал, ее писал специально для меня сам режиссер театра. Это я узнал от нашего первого комика, который выучил всю пьесу наизусть. Он сказал:

— А ведь наш режиссер очень неглупый господин; он очень удачно, придумал роль Джо Дженкса; без нее первое действие пьесы выходило какое-то безжизненное и бесцветное.

Наконец все роли были розданы, явился дирижер оркестра, и репетиция началась. Репетировали самую обыкновенную, старинную мелодраму, с начала и до конца которой без умолку пилит оркестр. Без музыки не обходится ни одно движение, ни

одно слово актера. Садится актер — аккорд, встает — опять аккорд, а если переходит через сцену, так уж целая симфония. Особенно любит музыка премьершу; она не дает ей сделать ни одного самого простого замечания, вроде того, что идет снег, и преследует ее с первого акта и до последнего, когда она встречает свою мать и умирает; смерть сопровождается целым концертом. Я твердо убежден, что, если бы дирижер мог уловить тот счастливый момент, когда премьерша захотела бы чихнуть, сейчас бы дал знать оркестру играть веселую музыку. После двух-трех увертюр меня стало брать сомнение, не опера ли это в самом деле и не заставят ли меня, чего доброго, пропеть какую-нибудь арию.

Первая сцена происходит между трактирщиком, несколькими провинциальными сплетниками и злодеем. Режиссер (который, конечно, играет роль злодея) стоит в центре сцены, откуда удалились все участвующие *в* пьесе, и отсюда командует и делает известные замечания, жестикулируя имеющейся в руке тетрадкой.

— Ну-с, господа, — кричит он, — начинаем первую сцену. Пожалуйте, Галлет, трактирщик, Бликенс и Дженкс (я был Дженкс). Все выходят на сцену с правой стороны. Я буду здесь (с этими словами он делает несколько шагов в сторону и топает ногой, чтобы рельефнее указать то место, где он будет находиться в начале первого акта) сидеть за столом. До поднятия занавеса все должны быть на своих местах. Вы (говорит он, обращаясь ко мне, относительно которого он, очевидно, уже предупрежден), мистер Л., будете сидеть в глубине сцены и курить трубку. Следите за репликами и, когда придет ваша очередь, говорите громко и внятно, потому что, в противном случае, никто ничего не услышит. Не забывайте, что театр большой, Что вы, мистер П., приготовили нам хорошенького для увертюры (мистер П. — дирижер оркестра)? Знаете, хорошо бы было сыграть что-нибудь старинное английское. Вот-вот, хорошо, это вполне подойдет. Благодарю вас, Ну, теперь можно начать. Всю эту сцену, мистер П., пожалуйста, играйте пианиссимо, до тех пор, пока я вам не скажу.

Затем мы начали репетицию, читая каждый свою роль по тетрадке. Все монологи, за исключением отдельных, самых коротких фраз, состоящих из двух-трех слов, пропускались. Ясно и внятно произносились только последние слова, составляющие реплики, все же остальное или проглатывалось, или так бормоталось, что никто ничего не мог разобрать, а то даже, для краткости, заменялось словами «и т. д., и т. д.». Более длинные сцены, происходившие между двумя или тремя лицами (а таких в пьесе было очень много), совершенно пропускались и

репетировались тут же на сцене, только отдельно, в каком-нибудь углу ее. Таким образом, одновременно на авансцене репетировалась вся пьеса целиком, а в глубине ее, в одном углу между двумя субъектами происходила репетиция дуэли на палках, в другом — отец проклинал своего сына и выгонял его из родительского дома, а тут же, невдалеке, галантный молодой человек в клетчатой тоге объяснялся в любви прелестной молодой девушке, на коленях которой сидел семилетний мальчик.

Я с нетерпением ожидал своей реплики и раза два выскакивал невпопад на сцену, и уже стал сомневаться, существует ли моя роль в пьесе, как вдруг трактирщик дружеским кивком головы в мою сторону дал мне знать, что пора начинать. Я вскочил как угорелый и, как мне показалось, совершенно ясно и отчетливо сделал свои наблюдения относительно дурной погоды. Но все актеры стояли на своих местах, очевидно, ожидая меня; отсюда я вывел заключение, что меня никто не слышал, и повторил свое замечание еще раз громче, яснее и, насколько мог, более зычным голосом, после чего ко мне обратился режиссер:

— Ну, мистер Л., начинайте, мы вас слушаем.

Я объяснил ему, что сказал свою роль уже два раза, на что он ответил:

— О, это не годится. Так говорить нельзя. Даже здесь, на сцене, вас не слышно, как же вы хотите, чтобы вас слышали в театре? Не забывайте, что вы играете в огромном помещении, а не у себя дома.

Говорить громче, не причинив серьезного вреда своим голосовым связям, для меня показалось прямо-таки невозможным, и в эту минуту я от души пожалел бедных клакеров, которые должны сидеть на галерке и перекрикивать весь театр. Кто не играл в больших театрах, тому трудно себе представить, как слабо и прямо-таки неслышно звучит даже самая громкая обыкновенная разговорная речь. Хотя выучиться говорить на сцене очень легко — стоит только стараться произносить слова отрывисто и раздельно, а не так, как в разговорной речи, когда рот почти все время остается открытым. Зная этот фокус, можно говорить на сцене чуть ли не шепотом, и в театре будет слышно каждое слово.

Я скоро совладал с этой театральной премудростью, и репетиция продолжалась.

В конце первого акта было много движения, беготни, гама и шума, и потому режиссер счел своим долгом хорошенько объяснить актерам суть всего этого.

— Вы *(трактирщик)* поднесете фонарь к самому моему лицу

как раз в то время, когда Джо Дженкс крикнет: «Вот он!» Я вскакиваю со своего места и опрокидываю стол *(вскакивает и делает вид, что опрокидывает стол)*. Затем бросаюсь на вас с кулаками, вы стараетесь меня схватить; я ускользаю от вас, отбрасываю в сторону и выбегаю на середину *(делает это)*. Бегу к двери, открываю ее, останавливаюсь на пороге и навожу на вас револьвер. Вы от страха приседаете на корточки *(мы следуем указаниям режиссера, садимся на корточки и то и дело наклоняем головы, чтобы показать, что боимся наведенного на нас дула револьвера)*.

— В таком положении, — продолжает режиссер, — надо оставаться до самого конца действия, пока не опустится занавес. Вся эта сцена, мистер П., должна сопровождаться бурной музыкой. И пожалуйста, господа, держитесь подальше от рампы и суфлерской будки, а то некуда опускать занавес. А какая у нас передняя декорация? Есть ли у нас что-нибудь из внутреннего убранства хижины?

Этот последний вопрос относился к театральному плотнику, который перетаскивал какие-то полотна.

— Не знаю, — отвечал последний. — Где Джим? Эй, Джим!

Оказалось, что Джим ушел несколько секунд тому назад. Услышав свое имя, он обтер рукавом свой рот и возвратился назад, злобно бурча себе что-то под нос и негодуя на всех и на все за то, что ему не дают ни минуты покоя.

— Иду, иду, — ответил он, проходя через двор. — Чего орете, я еще не оглох, слава Богу, слышу. И какого вам черта надо? Ведь не горит еще.

Джим был главный машинист и сценариус; в то же время это был страшно глупый и несимпатичный человек. Если ему не удавалось улизнуть на одну секунду, он ссорился и ругался, так что, вместо того чтобы бранить его за постоянные отлучки, все были довольны и чувствовали облегчение, когда он убегал промочить глотку. Он, как и все театральные машинисты, страшно не любил актеров и актрис и считал их людьми, которые мешают на каждом шагу и без которых работа шла бы несравненно успешнее и скорее. Но главное достоинство этого субъекта заключалось в его капитальной глупости. Особенно рельефно обнаруживалась эта черта всякий раз, когда дело касалось декораций.

Свежие и новые декорации для каждой пьесы — большая редкость в малых театрах. Иногда, когда ожидают, что пьеса будет иметь хороший успех и продержится в репертуаре долго, приблизительно месяц или шесть недель, тогда заказывают одну или две новые декорации; но вообще пользуются всегда старыми.

Тут подкрасят и подмажут, там наставят одну-две заплатки, и декорация готова; а в афишах появляется объявление, что ставится такая-то пьеса «при совершенно новой, роскошной обстановке».

Конечно, при таких обстоятельствах нельзя быть очень строгим критиком, и волей-неволей приходится смотреть сквозь пальцы на мнение несообразности и погрешности против действительности. Поэтому нет ничего удивительного, если вместо рабочего кабинета какого-нибудь высокопоставленного лица на сцене изображена палуба на корабле «Сара Джейн», или вместо гостиной — роскошный зал для банкетов; к этому надо быть готовым всегда. Что касается нашего режиссера, то его нельзя было упрекнуть в педантизме относительно этих театральных аксессуаров. О таких вещах он никогда не задумывался. Он сам рассказывал, что в один из своих бенефисов играл Гамлета только при двух декорациях, из которых одна изображала «комнату», а другая — «сад»; затем, в другой раз, ему пришлось играть с одной странствующей труппой актеров весь шекспировский репертуар всего только с четырьмя декорациями. Но при всей своей невзыскательности даже он подчас возмущался и приходил в ярость от глупости Джима и его воззрений на декорации. Когда надо было изобразить «Хемпстед при лунном освещении», он предлагал какой-то остров под тропиками; когда действие происходило где-нибудь в Лондоне, будь-то улица Уайтчеппел или Сент-Джеймский парк, он неизбежно предлагал высокохудожественное изображение «моста Ватерлоо в бурную, снежную ночь».

На сей раз, на требование дать декорацию, изображающую внутреннее убранство хижины, он спустил вниз бревенчатую избу с парой томагавков и револьверами, симметрично и артистически развешанными на стене под потолком. На возражение режиссера, что такая декорация вряд ли подойдет к данной пьесе, он попросил не привередничать и довольствоваться тем, что есть. Режиссер пробовал убедить его, что бревенчатая изба с томагавками и револьверами служила бы отличным изображением хижины в каких-нибудь австралийских дебрях или американских девственных лесах, но что в Англии, в особенности, когда надо изобразить местность, отстоящую от Лондона на расстоянии каких-нибудь пяти миль, ни за какие деньги нельзя встретить ничего подобного; но Джим только презрительно пожимал плечами и качал головой. Наконец Джиму надоело отмалчиваться, и он привел в свое оправдание следующий веский аргумент: предыдущий антрепренер этого театра, умерший пятнадцать лет тому назад (которого поэтому никто не помнил,

кроме одного Джима), всегда употреблял эту бревенчатую избу для изображения английских хижин, а этот господин (умерший антрепренер) был бесспорно умный и знающий свое дело человек, так что, в данном случае, нельзя спорить, даже если и сам Джим круглый дурак и осел.

Насчет последнего предположения Джима никто никогда не спорил, относительно же первого спорить было слишком поздно. Одно только можно сказать: если мистер Харрис, как обыкновенно в таких случаях называются таинственные антрепренеры, действительно таким образом обставлял свои пьесы, то эффект наверняка получался чрезвычайно странный, хотя и оригинальный.

В данное утро Джим оказался крайне упрям, и ничто не могло заставить его переменить декорацию, даже указание режиссера на имеющуюся в наличии более подходящую декорацию, чем эта, написанную не так давно для последнего антрепренера. Джим не знал, где она лежит, да к тому же, по его словам, у нее был оборван канат, так что спустить ее сверху не было никакой возможности. После такого объяснения он спокойно отошел в сторону, чтобы продолжать с фонарщиком перебранку, прерванную двадцать минут тому назад.

Эта первая репетиция происходила без декорации и без костюмов, главное внимание обращалось на музыку, на выходы актеров и на ознакомление с местами; но, конечно, было весьма желательно узнать как можно скорее, какие декорации более подходят к данным сценам и какие из них требуют починки или поправки.

Во втором действии первый раз должна была выступать премьерша — событие, заставляющее еще задолго быть настороже оркестр и собрать к этому моменту все свои силы и все свое умение. Она не должна появляться перед публикой невзначай. Большая и внезапная радость бывает подчас очень опасна. Надо исподволь подготовлять публику к такому радостному событию. Когда все приготовлено, режиссер сам подает ей реплику. Он говорит:

— Пом-пом — трам-там — пом-пом — трам-там… Вот ваша реплика, дорогая.

Такое фамильярное обращение принято на сцене, в особенности с хорошенькими и молоденькими актрисами. К этому можно очень скоро привыкнуть.

— Откуда мне выходить? — спрашивает премьерша.

— Да я и сам не знаю, моя дорогая; все зависит от декорации. Двери необходимы, следовательно, можно будет устроить, чтобы вы выходили через средние.

Надо заметить, что выход через средние двери считается самым почетным; только немногие артисты, в виде награды, получают позволение появляться на сцене через средние двери. Сейчас объясню, почему средние двери считаются привилегированными. Дело в том, что на публику производит гораздо лучшее впечатление, когда она сразу может видеть в лицо актера, приближающегося к рампе и потом только поворачивающегося и показывающего спину. А этого можно достигнуть, только выходя из средних дверей; при всяком же другом выходе из боковых дверей публике видна только одна часть тела, правая или левая, и потом спина. Но этим выходом из средних дверей очень часто утрируют, так что сплошь и рядом получается неестественная и прямо-таки непонятная сцена, а все из-за того, что режиссер хотел угодить самолюбию или просто пустому тщеславию какого-нибудь актера.

Чтобы рельефнее представить читателям нашу первую репетицию, я дословно приведу исполнение маленькой части ее, то есть четвертой сцены первого действия.

Вот полная картина.

Режиссер стоит в центре сцены спиной к рампе. За ним на высоком стуле сидит один только дирижер со скрипкой, изображающей из себя целый оркестр. Около кулис стоят двумя или тремя группами артисты. В глубине сцены взад и вперед шагает резонер, шепотом повторяет свою роль и иногда останавливается, чтобы соответствующим, подходящим движением живее передать смысл известной фразы или целого монолога. Комик с жен-премьером репетируют свою сцену у левых кулис. Субретка флиртует со вторым любовником у правых кулис. Бутафор тут же невдалеке приготовляет для пьесы пирог из старого куска полотна и деревянных стружек. Два плотника в белых блузах с топорами в руках поглядывают друг на друга недоумевающим взором, очевидно, не зная, как им приступить к своей шумной работе. Мальчик для посылок вертится под ногами и всегда исчезает как раз в ту минуту, когда он нужен.

Благородный отец *(стоя у правой боковой двери и читая через большие очки свою роль по тетради):* Э…э… э… ветер воет… э… э…э… такая же ужасная ночь была пятнадцать лет тому назад… э… милое дитя… э… э — тебя похитили у меня… э… как ты лепетала… э… э… услышу ли я когда-нибудь твой голос?

С этими словами он озирается и, видя, что никому нет никакого дела до того, услышит ли он когда-нибудь ее голос или нет, еще раз повторяет свой вопрос.

Режиссер *(строго, как будто на этот вопрос необходимо дать ответ).* Услышу ли я когда-нибудь твой голос? Мистер П., ведь это реплика для музыки! У вас отмечено это место? Мисс *(имя жены антрепренера)* поет в этом месте за сценой.

Мистер П. Нет, у меня не отмечено. Как вы говорите? Услышу ее голос? *(Записывает реплику на полях нот.)* Вы подобрали уже музыку, мисс?..

Режиссер. Да, что-нибудь печальное. Безразлично что, только обязательно очень печальное, раздирающее душу, чтобы растрогать публику до слез. Что вы хотите петь, моя дорогая?

Жена антрепренера *(которая только что пропустила несколько рюмок абсента с другой дамой).* Мне все равно, что-нибудь старинное. Ну, хотя бы это.

Жен-премьер *(шепотом комику).* Неужели она будет петь?

Комик. Как видите, да.

Жен-премьер. А, чтоб ее…

Жена антрепренера *(под аккомпанемент скрипки исполняет первую строфу старинной песни «Родина, милая родина»).*

Благородный отец. О, этот голос… э… э… эхо старинных воспоминаний… э… э… э… бесприютная странница, войди, обсуши свое мокрое платье *(делает несколько шагов и открывает рукой воображаемую дверь).* Бедное дитя… э… э… э… я старик… э… э… жена ушла… войди… э… э… бесприютная сирота.

Жена антрепренера *(к режиссеру).* А что, в этом месте будет бенгальский огонь?

Комическая старуха *(бурчит себе под нос).* Скажите, пожалуйста, ей понадобился бенгальский огонь. Должно быть, собирается распустить свои волосы.

Режиссер. Конечно, конечно, моя дорогая. В углу будет поставлен камин, откуда будет падать на вас красный свет.

Жена антрепренера. Спасибо, очень вам благодарна; интересно было знать. Ну, на чем мы остановились… бесприютная сирота… Да, здесь я говорю длинный монолог… я пропущу его… только последние слова… Все это сон, один только сон… да… мне припоминается, как будто бы я играла здесь ребенком.

Благородный отец. Милое дитя, твое лицо воскрешает в моем уме старые воспоминания… э… э… э… она была бы почти твоих лет.

Режиссер *(прерывает).* Все это время играет тихая музыка.

Благородный отец *(продолжает).* Никогда с той злополучной ночи… э… э… я не могу поверить, что она умерла.

Страшно высокая, визгливая нота скрипки предшествует выходу комической старухи.

Комическая старуха *(сидит неподвижно на своем месте, но, услышав первое слово своей реплики, так быстро и неожиданно выбегает на середину сцены, что заставляет всех отшатнуться от испуга)*. Прижать тебя к своей груди!

Жена антрепренера. Мать!!! А что, ваш ревматизм опять начался?

Комическая старуха. Опять! Да он, проклятый, и не думал никогда проходить… Дитя мое!!!

Визжащий аккорд скрипки.

Благородный отец. Где же мне быть все это время?

Режиссер. С левой стороны сцены.

Жена антрепренера. Мы обнимаемся, и в это время слышится стук в дверь.

Режиссер *(выходя на середину)*. Теперь я вхожу. Вы оставайтесь на своих местах. Сцена должна представлять такую картину. Вы и миссис… стоите и обнимаетесь, старик в левом углу; в это время я открываю дверь. Не забудьте приготовить для этой сцены дождь и ветер.

Плотник *(кричит во всю глотку)*. Джим! Приготовь дождь и ветер для последней сцены первого действия.

За кулисами слышится негодующий голос Джима, посылающего всех ко всем чертям.

Режиссер *(имеющий обыкновение говорить на репетиции все свои даже самые длинные монологи полностью, притом таким тоном, как будто бы он повторяет таблицу умножения)*. Меня преследуют. Моя жизнь в опасности. Спасите меня от этих кровожадных злодеев, которые гонятся за мной по пятам… Стойте! Вот они идут сюда. Нет, слава Богу, прошли мимо. Я спасен. Ба! Это кто еще здесь? Как мне везет этой ночью. Как будет мне благодарен сэр Генри за то, что я привел ему его заблудшую овечку. Пойдем со мною, маленькая беглянка *(та сопротивляется)*. Нет, не упрямься, я желаю тебе добра. Я хватаю вас за руку; вы сопротивляетесь, мы боремся. Пойдем, говорю тебе, пойдем со мной.

Комическая старуха. Умереть вместе!

Яростный аккорд скрипки.

Режиссер *(громко, после минутной паузы)*. Так умрите же вместе!..

Благородный отец. Простите, я не расслышал *(перелистывает свою тетрадку и ищет потерянное место).*

Жена антрепренера. Ему бы не мешало завести себе слуховую трубку.

Благородный отец. Э… э… э… Небо дает мне силы… э… э… убить его наповал. (С *этими словами он бросается с палкой на режиссера.)*

В это время за кулисами раздается отчаянный стук нескольких молотков; вся труппа в ужасе закрывает руками уши, за исключением благородного отца, который ничего не слышит и продолжает репетировать сам с собой.

Режиссер *(вне себя от гнева).* Перестаньте стучать! Перестаньте стучать, говорю вам!

Стук продолжается.

Джим *(грубо).* Хотелось бы мне знать, можно ли работать без шума?

Режиссер. Нельзя ли это сделать в другое время?

Джим *(сердито).* Нет, не можем. Не будем же мы сидеть здесь из-за вас целую ночь.

Режиссер *(мягче).* Послушай, милый друг, согласись, что мы не можем репетировать при таком шуме?

Джим *(грубо).* А мне какое дело до вашей репетиции! Я делаю свое дело и вас не спрашиваю, как надо его делать.

Затем целых десять минут следует красноречивое словоизвержение Джима, пересыпаемое время от времени букетом сильных выражений, причем стук молотков не прекращается ни на минуту. Полное изнеможение режиссера, и остановка репетиции. Запас бранных слов Джима иссякает, и он умолкает.

Жена антрепренера *(когда репетиция возобновляется).* Необходимо повторить последнюю сцену, не правда ли?

Два или три последних явления повторяются снова.

Режиссер. Все мы втроем боремся около дверей. «Прочь, старик! Уходи, если дорога тебе жизнь!» Я отталкиваю вас. «Прочь от меня, а не то я тебя убью!» Это место надо хорошенько прорепетировать. «Кто смеет заграждать мне путь?» *(Комику.)* Вы должны входить под музыку. Не забудьте!

Комик выходит вперед. Аккорд скрипки.

Режиссер. Ну, теперь надо бороться *(режиссер и комик берут друг друга за плечи и трясут).* В левом кармане у меня будет

лежать записная книжка.

Комик. А, разбойник, ты успел скрыться. Это что? *(поднимает воображаемую записную книжку)*. Вот счастье, этот документ для меня важнее тебя самого.

Режиссер. Конец первого действия. Томми, принеси-ка мне бутылку пива.

Глава VI
Декорации и статисты

Эту пьесу репетировали пять раз.

— К чему так много репетиций? — возмущалась комическая старуха. — Сама пьеса не пройдет столько раз на сцене, сколько делают репетиций!

Узнав, что будет всего только пять репетиций, я страшно испугался, в особенности когда вспомнил любительские спектакли, в которых страшно любил принимать участие. Обыкновенно для самого коротенького фарса у нас полагалось делать, по крайней мере, тридцать простых репетиций и несколько генеральных при полной обстановке и в костюмах. Уже после я узнал, что среди заправских актеров, в настоящих театрах, это не принято, хотя и нельзя сказать, что такой порядок вещей не вредит делу. Я знаю, что в провинции, сплошь и рядом, ставятся на сцене трехактные комедии без всяких репетиций, причем большинство актеров не знают своих ролей. Всякая путаница или недоразумения разрешаются актерами шепотом тут же, на сцене, во время представления; в случае же слишком большой путаницы один или два актера выбегают за кулисы и заглядывают в книгу. Что касается суфлера, то он, в полном смысле слова, лезет из кожи вон, чтобы удержать актеров в пределах одного акта, не позволять выхватывать места из следующих актов и заставить героя объясниться в любви той девушке, какой надо по пьесе, а не другой, по его собственному желанию; но обыкновенно все его старания оказываются тщетными, так что он, сознавая свое полное бессилие и бесполезность, вылезает из будки и закуривает тут же на сцене трубку.

На четвертой репетиции у нас все актеры уже знали свои роли, и читать по тетрадкам было запрещено. Вследствие этого пьеса шла гладко, без всяких пропусков, как на первых репетициях, и оркестр (две скрипки, контрабас, корнет-а-пистон и барабан), казалось, был в полном составе. Последняя главная репетиция должна была идти при полной обстановке и в костюмах. Больше всех волновался Джим, ругался направо и налево и чувствовал себя совершенно в своей тарелке.

Тогда я впервые познакомился с нашим театральным художником-декоратором. Это был маленький, живой и веселый человечек, по смелым выдумкам и затеям не уступающий Марку Танлею. Казалось, для него не существует никаких трудностей

или препятствий. Всякие, даже самые невозможные заказы исполнялись им с волшебной быстротой. Бывало так, что утром ему заказывали к вечернему представлению декорацию, изображающую приемную мирового судьи, а под руками находилась одна только декорация, изображающая простой деревенский трактир. Он нисколько не унывал, приказывал спускать эту декорацию, подмазывал здесь, подкрашивал там, делал две-три небольшие поправки, и декорация была готова. В полчаса он с успехом мог преобразовать сенокос — в кладбище или темницу — в роскошную спальню.

Но в данном случае даже его пылкая фантазия и изобретательность не могли выручить нас из затруднительного положения. Остановка была за хижинами. Дело в том, что все добродетельные люди по пьесе жили в хижинах. Я никогда в своей жизни не видал такого большого спроса на хижины. У нас было много декораций, изображающих людские обиталища, как-то: залы, дворцы, замковые башни и подземные темницы, салон-кабинеты, каюты на пароходах, гостиная в доме № 200 на Бэльгрейв-сквер (действительно роскошный апартамент с большими часами над камином).

Но эти декорации никуда не годились, потому что все действующие лица нашей пьесы как назло жили только в простых хижинах. Переделывать три или четыре декорации в хижины не было никакого смысла, потому что все они могли понадобиться в скором времени для другой пьесы; оставалось одно средство: варьировать одну и ту же декорацию, изображающую внутреннее помещение, на разные лады. Так и сделали; в одной и той же хижине, только под различными названиями, ухитрились поместить четыре различных семейства. А именно: хижина с круглым столом и одним подсвечником должна была обозначать помещение бедной вдовы; с двумя подсвечниками и ружьем на стене — дом кузнеца; с квадратным столом вместо круглого — «хижину дяди Соломона по дороге в Лондон»; лопата в углу и пальто, висевшее на дверях, должны были изображать старую мельницу в йоркширских болотах.

Но никакие хитрости не помогли.

В день представления публика, уже при втором появлении декорации на сцене, шумно встретила ее, как старую знакомую, и разом пришла в хорошее расположение духа. В этом отношении нельзя пожаловаться на взыскательность зрителей суррейской части Лондона, посещающих театры по субботам. Они любят веселиться, и если пьеса не представляет ничего смешного, они сами выискивают что-нибудь, над чем можно было бы от души похохотать. Так было и в данном случае; после двух-трех

появлений на сцене хижины эта последняя вполне завоевала себе симпатии галерки, так что, когда в следующих двух сценах были выставлены другие декорации, с галерки послышались тревожные крики и выражения надежды, что с хижиной, благодаря Богу, вероятно, ничего скверного не случилось. Наконец, появление ее в следующем акте (конечно, под другим названием) было встречено дружным взрывом аплодисментов и различными замечаниями вроде следующих:

— Кто сказал, что она пропала?

Или:

— Не говорил ли я, что она цела и невредима?

До последней генеральной репетиции статисты не принимали участия или, как принято у них называть, не *работали* в пьесе. Этих статистов дирекция доставала из двух источников. Половина из них были солдаты, приглашенные изображать в драме военную силу, между тем как другая половина, призванная изображать отчаянных негодяев и бунтовщиков, состояла из различного сброда, навербованного в глухих частях Лондона.

Лучше всего исполняли свою роль в пьесе солдаты, которые обыкновенно приходили под начальством сержанта. Глядя на их игру, так и казалось, что видишь перед собою отряд солдат на ученье. На сцене они исполняли свою роль так же хладнокровно, с такою же серьезностью, как будто им делали смотр где-нибудь на плацу или в манеже.

Когда же сержант отдавал им приказание заряжать ружья и целиться в бунтовщиков, то все эти жесты выполнялись ими так реально, естественно и притом так энергично, что эти последние, то есть разъяренные бунтовщики, забывали указания режиссера, как надо изображать ужас и смятение, и бросались со всех ног за кулисы. Меньше всего хлопот и беспокойства на репетициях с солдатами; собственно говоря, с ними совсем не приходится репетировать. Режиссер обыкновенно объясняет свои желания и требования одному только сержанту, а тот уже, в свою очередь, передает их солдатам, конечно, на своем особенном, солдатском диалекте, и дело сделано.

Но хорошо брать солдат в статисты, когда они должны изображать солдат; ни для чего другого они не годятся. Что вы с ними ни делайте, в какие костюмы ни одевайте, какими именами ни называйте, они всегда останутся солдатами до мозга костей. Однажды наш режиссер заставил их изображать бушующую чернь. Их научили, как они должны оглашать воздух дикими, свирепыми криками, как должны столпиться в одну кучу в глубине сцены и, толпясь здесь, двигаться вперед и назад, подобно бушующему морю, потрясая оружием и бросая свирепые взгляды на

блюстителей порядка и строгих представителей закона, и потом вдруг броситься вперед, подобно бурному потоку, прорвавшему удерживающую его плотину, снести на своем пути все преграды и со страшной силой сломить и преодолеть вооруженное сопротивление.

Вот как в теории должна вести себя толпа на сцене. Но теория расходится с практикой, и потому эффект получался совершенно иной. Статисты, изображающие бушующую чернь, вбегали на сцену, останавливались в нерешительности и потом сзади подталкивали друг друга, ободряя таким образом и понуждая придвинуться ближе к рампе. Наконец, они выстраивались в одну шеренгу и глупо ухмылялись, поглядывая друг на друга. По данному сигналу наступать каждый из толпы, все так же глупо ухмыляясь, подходил к ближайшему солдату и клал руку на ружье воина. Борьба противников заключалась в том, что они равномерно то поднимали ружье кверху, то опускали вниз. Точь-в-точь качали воду из колодца. Так продолжалось до тех пор, пока солдат внезапно не ослабевал, должно быть вследствие паралича руки, потому что никакой другой видимой причины не было; между тем победивший бунтовщик преспокойно отнимал от него ружье и, желая закинуть его за плечо, запутывался в ремне.

Все это имело страшно глупый вид, но еще глупее и несуразнее выходило, когда бушующую чернь изображали настоящие солдаты. Обыкновенно они вбегали на сцену, выстраивались в каре и затем, по команде, выкрикивали в три равных промежутка времени то, что им приказывал сержант. Вот каково было их понятие о бушующей черни, заставить их переменить свое мнение и исполнять свою роль как следует не было никакой физической возможности.

Профессиональные статисты, составляющие особый класс, — самые жалкие и несчастные на вид люди, каких только можно встретить на свете. По сравнению с ними даже «сандвичи», и те гораздо счастливее и жизнерадостнее. Статисты нашей труппы, конечно, не составляли исключения из общего правила. Они бродили по театру обыкновенно маленькими группами, по два-три человека, и с таким скептицизмом и отчаянием смотрели на мир Божий, что одно их присутствие как-то подавляюще и угнетающе действовало даже на самого черствого и бездушного человека. Странное дело, как это люди не могут веселиться и быть в хорошем расположении духа, получая шесть шиллингов в неделю.

Не могу не описать одного из наших статистов, безвредного дурачка, известного под названием «безумный Мак», хотя сам он

себя называл «Мистер Мак-Александр-Сент-Джордж-Клемент».

Этот несчастный субъект уже много лет влачил жалкое существование статиста, хотя, очевидно, было время, когда он играл не последнюю роль в жизни. В его тонких чертах лица проглядывало благородство, и в минуты нормального состояния он не лишен был здравого ума и следов хорошего воспитания. Ходят слухи, что он вступил на жизненный путь молодым актером, подающим большие надежды благодаря своему таланту, как вдруг, неизвестно от чего, сошел с ума. Женщины, конечно, приписывают это несчастной любви, но ведь этому нельзя особенно доверять, потому что они любят все, что бы ни случилось с человеком, приписывать несчастной любви. Заснет ли человек не раздеваясь, даже не сняв сапог от усталости — виновата любовь, испортился ли водопровод и вода перестала течь из крана — опять винят несчастную любовь. Есть еще один слух, будто он сошел с ума от пьянства. Как бы то ни было, настоящей и верной причины никто не знал; нить между эпилогом и прологом его жизни была порвана. Мак воображал себя великим артистом и был в полной уверенности, что ему не дают больших ролей только из боязни, что он затмит их всех и составит им опасную конкуренцию. Главным пунктом его помешательства была роль Ромео; он изучал ее целыми годами и был вполне уверен, как однажды сообщил мне на ухо, что настанет время, когда восторжествует истина и когда он покажет всему миру, какой великий талант старались загубить и скрывали под спудом.

Однако странная вещь: его сумасшествие не мешало ему добросовестно и как следует исполнять свои обязанности статиста. На сцене он был послушен и делал то, что и другие статисты; но стоило ему только уйти за кулисы, как он сразу преображался и принимал свой до комичности гордый и неприступный вид, и, если режиссер делал ему замечания, он отвешивал ему церемонный поклон и с гордостью заявлял, что «мистер Сент-Джордж-Клемент» не нуждается в указаниях, как играть на сцене. Он никогда не смешивался с другими статистами и всегда держался поодаль от них и стоял, скрестив на груди свои руки и устремив вдаль свои глаза. Его манеры, не то нерешительные, не то напыщенные, служили посмешищем для всего театра, но иногда бледное лицо Мака изображало такую глубокую скорбь, такое отчаяние, что волей-неволей у зрителей болело сердце. Его странная личность и таинственная история жизни часто заставляли меня серьезно задумываться и навевали невеселые мысли. Я невольно думал о том времени, когда эти безжизненные глаза смотрели на Божий свет, полные надежды и

честолюбия, и часто в уме моем проносилась тревожная мысль, не сделаюсь ли и я когда-нибудь таким же безвредным дурачком, мнящим себя великим артистом?

Глава VII
Костюмы

Репетировать пьесы в костюмах считалось совершенно лишним. За всю артистическую карьеру я помню одну только репетицию, которая была поставлена при декорациях и в костюмах. Но вовремя была готова лишь часть костюмов. Поэтому, например, я репетировал в медном шлеме и стальной кольчуге, из-под которой выглядывали клетчатые панталоны, а другой актер, кажется изображающий короля каннибалов, в кольчужных штанах с медными запястьями и черном длинном сюртуке.

Переход от игры без костюмов на репетиции к самому представлению в костюмах и при полной обстановке настолько резок, что к нему обязательно надо подготовлять новичков актеров. Старым, конечно, совершенно безразлично, как играть — в костюмах или без оных. Но войдите в положение молодого актера. На репетициях он объяснялся в любви бледнолицей, средних лет даме в простеньком черном гренадиновом платье и жакетке, опушенной мехом, и вдруг, во время представления, должен проделать то же самое при публике и объясняться в любви молодой красивой женщине с пышными формами, одетой в голубые шелковые чулки и коротенькую юбочку. Большая разница — драться на репетиции с добродушным толстяком, мистером Джоном, или с дикарем, мечущим свирепые взгляды из-под нависших бровей, по виду своему представляющим нечто среднее между римским гладиатором и Биллем Сайксом, каким он (Джон) является на представлении. Естественно, молодой актер теряется и начинает опасаться, не спутал ли он пьесы и те ли это субъекты, какие ему нужны.

Я, по своей неопытности, все ждал репетиции с костюмами, но время все шло и шло, а о костюмах не было и помину; тогда я решился спросить режиссера или кого-нибудь из старых актеров, боясь, не забыли ли они случайно о такой важной вещи. Но меня за подобные глупые вопросы подняли на смех и назвали фантазером.

— Какие тут репетиции с костюмами, милый друг, — ответили мне, — будьте счастливы, если вам удастся как следует одеться для самого спектакля.

Надо заметить, что таким покровительственным, если не фамильярным тоном говорили со мною и называли меня «милым» не потому, что считали очень молодым, хотя мне и было всего

восемнадцать лет, но этого никто не мог знать. Среди актеров вообще принято называть друг друга «мой милый», а актрис — «моя дорогая», «голубушка» или «душечка». Сначала такое обращение меня немного сердило, но когда я увидел, что точно так же называют почтенных знаменитостей, в волосах которых просвечивает седина, я понял, что никто не желал оскорблять мое достоинство, и успокоился.

Вообще, из мужчин никто не обращал никакого внимания на костюмы, кроме одного, игравшего роли вторых любовников, которого мы прозвали «шахматной доской» за его клетчатое пальто. Этот молодой человек ужасно любил одеваться и всегда являлся большим франтом, но у него были свои большие странности; например, какая бы ни шла пьеса, где бы и когда бы ни происходило действие, хотя бы несколько веков назад, он непременно являлся на сцену в своем новом щегольском пальто. На анахронизмы как он, так и вообще вся наша труппа не обращали никакого внимания. В лучших лондонских театрах о костюмах заботится и заготовляет их сама театральная дирекция, актер же только надевает то, что ему дают. Совсем иначе было поставлено дело в тех театрах и труппах, где я служил; выбор костюма у нас зависел вполне от личного вкуса самого актера. Когда давались обыкновенные современные пьесы, то мы должны были с ног до головы одеваться за свой собственный счет; вообще же для всех пьес у нас должны были быть свои собственные брюки и сапоги, не исключая и коротеньких средневековых панталон, чулок и штиблетов и туфель с пряжками всех веков и народов. Обо всех остальных частях туалета заботилась сама театральная дирекция.

В провинции особенно любят давать старинные классические трагедии и пантомимы; но так как обязанность доставать костюмы для них лежит на самих актерах, то гардеробные эффекты получаются поразительные. Всякая такая пьеса, конечно, своими костюмами вполне может конкурировать с любым костюмированным балом. Курьезы бывают замечательные: например, отец, судя по костюму, принадлежит ко времени Георга III, между тем сын его щеголяет в костюме царствования Карла II. Что касается статистов, то их одевали в первые попавшиеся под руку костюмы, но сапоги заставляли иметь свои собственные. Главное внимание обращалось на живописность. Это стремление к живописности очень часто даже в больших лондонских театрах до того пересаливалось, что расходилось со здравым смыслом и реальностью. Например, во всех театрах даже до сих пор держится мнение, будто крестьянские девушки всех стран обязательно носят итальянские костюмы, а земледельцы и

хлебопашцы — красные, расшитые желтыми узорами жилеты.

Все более или менее известные актеры предпочитают сами одеваться для сцены и шить себе костюмы и в очень редких случаях соглашаются с мнением и вкусом костюмера; такой обычай существует даже в тех театрах, где сама дирекция снабжает актеров надлежащим гардеробом.

Конечно, говоря это, я имею в виду одних только мужчин. Что же касается актрис, то все они, за весьма малыми исключениями, имеют свои собственные костюмы. По-моему, женщины в этом отношении очень счастливый народ, потому что все их платья, начиная со времен мадам Ной и по сию пору, остались одни и те же, только с весьма маленькими изменениями и вариациями. Может быть, я не прав, высказывая только свой личный взгляд на этот предмет. Я твердо убежден, что платье, которое носила мисс Эслейк в «Серебряном короле», точно так же хорошо бы подошло и Офелии. Какая разница между платьем, которое носила королева Елизавета, и платьем миссис Боунсер? Почти никакой, разве только в воротнике или в рукавах, но ведь совсем не трудно спороть одни узкие рукава и нашить другие, широкие с буфами. И зачем только эти актрисы шьют себе так много платьев! Ведь стоит нашить какую-нибудь оборку или сделать одну или две складки на юбке, чтобы изменить фасон женского платья и не отставать от моды.

Хотя кто знает, может быть, все, что я говорю, и неверно.

В течение недели мы несколько раз забегали к нашему театральному костюмеру для примерки, утешая себя надеждой (так делали те из нас, которые были еще мало знакомы с такими господами, как театральные костюмеры), что таким образом к спектаклю костюмы будут вполне готовы и притом будут хорошо сидеть. Но большинство актеров вели себя совершенно иначе. Наученные горьким опытом, они вовсе не заботились о том, как будут сидеть костюмы, и только в день представления или натягивали их на себя изо всей силы, если они были узки, или подкладывали со всех сторон огромное количество ваты и подушек, если они были слишком широки.

Наши уборные (два ряда деревянных чуланов, разделенные узким коридором) помещались над бутафорской комнатой; попасть туда можно было по приставной, сильно качающейся и довольно-таки ветхой лестнице, которую каждый актер старался пробежать как можно скорее, боясь, что она обрушится, прежде чем он успеет достичь цели своего путешествия. Эти апартаменты были тщательно отремонтированы к открытию театра. Все очень большие дыры и щели были заклеены сахарной бумагой, а стены были выбелены таким толстым слоем известки, который явно

свидетельствовал, что антрепренер театра не пожалел денег на ремонт. Впрочем, эти комнаты недолго имели такой чистый, приветливый вид: не дальше чем через неделю все эти белила перешли на наши платья и костюмы. Говорили даже, будто одна из этих уборных была вымыта и подметена, хотя я не очень-то верю этому слуху, потому что с тех пор ни разу не видел, чтобы кто-нибудь занимался таким делом; я даже склонен думать, что, должно быть, такую утку нарочно пустил один из актеров по злобе на поденщицу. Услышав об этом, она ничего не ответила, хотя, очевидно, была сильно раздражена и взглянула на сообщившего ей этот слух с таким видом, который ясно говорил, что с порядочными людьми о подобных вещах говорить неприлично.

Две или три двери, ведущие в эти комнаты, еще висели на петлях и при небольшом усилии и некоторой сноровке могли быть закрываемы и открываемы, но в большинстве случаев двери бывали совершенно испорчены и стояли прислоненные к своим косякам, наподобие пьяниц, доставленных к своему дому извозчиком. Единственно возможный способ проникнуть в уборную — отставить их прочь в сторону. Интересно бывает наблюдать, как толстый запыхавшийся актер маневрирует с подобной дверью, стараясь водрузить ее на прежнее место. После целого ряда нечеловеческих усилий, он наконец ставит ее поперек узкого коридора, но в это время снизу поднимается по лестнице какой-нибудь другой актер, которому что-то понадобилось в уборной. Однако попасть он туда не может, потому что коридор заставлен дверью; желая освободить проход, он хватает дверь и начинает тащить ее в свою сторону.

Первый актер никого не видит за дверью, но, очевидно, предполагает, что какой-нибудь дурак подшучивает и дразнит его, и потому с большой силой яростно начинает толкать дверь взад и вперед и, наконец, изо всей силы бросает ее на ноги своего товарища. Такой неблагородный поступок приводит, в свою очередь, в бешенство и второго актера; и здесь уже начинается борьба не на живот, а на смерть. Дверь летает от одной стены коридора к другой, наносит удары обоим соперникам по голове и куда попало до тех пор, пока оба в изнеможении не падают на пол, а дверь на них.

Обстановка в уборных была простая, но все-таки была заметна заботливость дирекции, чтобы артисты ни в чем не испытывали недостатка; так, в каждой комнате стояло по нескольку поломанных стульев. Что касается туалетных принадлежностей, то их было слишком мало для того, чтобы в каждой комнате поставить полный прибор; но театральная

дирекция и тут нашла рациональный выход из затруднительного положения. В одни комнаты она поставила только кувшины, а в другие — тазы. Где не было ни тех, ни других, там смело можно было рассчитывать найти мыльницу. Полотенца — тоненькие, узенькие тряпочки с огромными дырами посредине — выдавались по одному на шесть человек, причем раз в каждые две недели. Мыло мы приносили сами, по крайней мере некоторые из нас, а остальные бесцеремонно пользовались чужим.

Одна из комнат была обставлена лучше других и потому возбуждала зависть многих из нас. Дело в том, что там вместо рукомойника стоял старый венский стул с продавленным отверстием, куда вставлялся таз. Но очень скоро завидовать стало нечему; даже собственники этой комнаты и те перестали ею гордиться, а некоторое время спустя первый любовник изломал этот импровизированный рукомойник на мелкие кусочки. Причину такой грубой расправы мы впоследствии узнали от одного недоброжелателя этого актера, который рассказал нам всю историю по секрету. Дело в том, что у этого стула была сломана одна нога, вследствие чего он постоянно опрокидывался и однажды окатил грязной водой новые брюки первого любовника, так что он принужден был весь вечер играть в невообразимо мокрых.

По вечерам, во время представления, около этих комнат блуждал какой-то странный субъект с воспаленными, больными глазами. Он уверял всех, что на его обязанности лежит одевать актеров, хотя он так же был пригоден для этого дела, как и для поварского искусства. Один только раз мы услышали, что он помогал кому-то одеваться, когда Джим отколотил его за то, что тот вылил ему в ужин целую баночку грима. Впрочем, присутствие его иногда было нам с руки, именно тогда, когда требовалось кого-нибудь послать за пивом.

Вообще же убранство и обстановка уборных комнат немного удивили меня, но не разочаровали, потому что раньше, до поступления на сцену, я никогда не думал об этом и не строил относительно них никаких воздушных замков. Я не мечтал встретить там какую-нибудь небывалую роскошь; нет, я относился к ним совершенно равнодушно; зато все мои мысли и стремления были сосредоточены на мифической «зеленой» комнате. Здесь я должен был наслаждаться божественной красотой и преклоняться перед высоким умом и талантом. Моему воображению представлялась роскошно освещенная большая комната с начищенным до блеска дубовым полом, покрытым мягкими, пушистыми коврами; золоченые стены увешаны образцовыми высокохудожественными картинами; потолок расписан кистью

великих художников. Во всех углах много мебели, кресел, табуреток и кушеток, на которых мы отдыхаем после нашего артистического труда; тут же стоит чудный рояль, из клавишей которого прелестные белоснежные пальцы извлекают чарующие, волшебные звуки, между тем как я стою, наклонившись, и переворачиваю ноты; всевозможные этажерки и полочки полны старинной фарфоровой посуды и разных безделушек, до которых дамы такие большие охотницы. Сквозь тяжелые, плотные портьеры едва доносится шум внешнего мира и не мешает нам вести мирную, тихую беседу; мерцающий фантастический свет камина освещает испанскую мебель из красного и розового дерева и, отражаясь в больших зеркалах и трюмо, как-то сглаживает и придает всей этой ослепительной роскоши приветливый, уютный вид.

Но в нашем театре не было такой «зеленой» комнаты; я даже никогда и не видал такой комнаты, хотя страстно желал этого. Однажды только я встретил актера, который уверял меня, что видел и даже был в такой комнате; я, конечно, пристал к нему, прося подробно рассказать про нее. Но даже воспоминания этого очевидца не удовлетворяли меня, потому что были крайне сбивчивы и смутны. Например, он не вполне был уверен, где видел ее: в Ньюкасле, Ливерпуле или в Эксетере; в одном только он был твердо убежден, что театр этот давным-давно уже сгорел.

Однажды я пошел в один из больших лондонских театров в полной уверенности, что там непременно должна существовать за кулисами подобная комната, и потому хотел хоть одним глазком взглянуть на нее. Это удовольствие обошлось мне в четыре шиллинга и семь пенсов, которые пришлось раздать на чай капельдинерам. Действительно, мои ожидания оправдались, и там существовала подобная «зеленая» комната, но капельдинер посоветовал мне не ходить туда, предостерегая, что я могу в темноте расквасить себе нос или, что еще того хуже, разбить башку о разные бутафорские принадлежности, которые разбросаны в беспорядке по всей комнате.

Правда, во многих театрах существует некоторое подобие такой «зеленой» комнаты, но обыкновенно ее захватывает в свою полную собственность или какая-нибудь театральная звезда, перед которой преклоняется антрепренер, или же сам режиссер, между тем как несчастные актеры должны сидеть в душных чуланах, называемых уборными, или торчать и дрожать от холода за кулисами, или же выслушивать ругань и брань сценариуса и плотников, которые уверяют, что актеры мешают им устанавливать декорации.

Глава VIII
Мой первый дебют

Открытие летнего сезона нашего театра назначено было на субботу; тогда же мне впервые предстояло появиться перед английской публикой, то есть в этот день должен был состояться мой «первый дебют», как громко выразился наш парикмахер и вместе с тем гример. Думая об этом накануне и все предыдущие дни, я сильно волновался и даже боялся, но, странное дело, во время самого представления чувствовал себя превосходно и не испытывал ни малейшего страха. Для меня такое явление совершенно непонятно, потому что вообще, а в тот период моей жизни в особенности, я был очень скромного и нерешительного характера. В ранние дни моего детства я, наоборот, проявлял большую смелость и развязность; в то время меня сажали на стол (конечно, я этого не помню, но говорю со слов старших) и заставляли декламировать стихи, что я и делал без всякого смущения, к великому удовольствию моих старых родственников и родных (да, в прежние времена люди всегда находили себе занятие и умели забавлять себя!); затем моя старая няня неоднократно рассказывала, что однажды в конке я привел публику в такой восторг, пропев «серенького козлика», что она собрала в мою пользу целые полкроны. Я лично не помню подобного эпизода, но если даже предположить, что это не простая выдумка няньки, а действительно случившийся факт, то куда же девались эти деньги? Как я ни добивался, этот вопрос всегда оставался без ответа и так и не был мне разъяснен.

Во всяком случае, в восемнадцать лет я не мог похвастаться такою же смелостью и самообладанием, какими отличался в восьмилетнем возрасте. Даже теперь я за тысячу фунтов стерлингов не стану декламировать или играть при гостях; правда, вряд ли найдутся такие люди, которые предложили бы мне такую сумму. Но перед публикой в театре я чувствую себя превосходно; и куда только девается моя застенчивость, на которую так часто в частной жизни жаловались и жалуются особы прекрасного пола. Со сцены я не вижу сидящих в театре, разве только, и то не всегда, три первых ряда кресел. На сцене обыкновенно бывает светлее, чем в остальной части театра; весь театр погружен в таинственный полумрак, так что единственное, что может видеть актер со сцены, так это сплошную белую массу лиц. Я никогда не различал «десятков тысяч блестящих глаз», смотревших на меня в упор, и потому чувствовал себя гораздо

смелее. Самый проницательный и грозный взгляд на свете не может смутить слепого человека.

Но даже если бы я волновался во время представления, то имел бы основательное оправдание; дело в том, что в театр собралась посмотреть мою игру избранная компания моих друзей и приятелей, в числе которых было несколько студентов-медиков и воспитанников колледжа; они уверяли меня, что идут в театр специально для того, чтобы сделать мне бурный прием. Я уговаривал их и просил не беспокоиться приходить, но они и слышать об этом не хотели. Они, наоборот, уверяли меня, что сознание того, что в театре присутствуют мои друзья, будет служить мне некоторой поддержкой и, во всяком случае, гарантией на успех. Но такая любезность с их стороны меня нисколько не трогала.

— Послушайте, — сказал я, — если вы попробуете устроить какую-нибудь глупую шутку, уверяю вас, я брошу играть.

Но они уверили меня, что никаких штук выкидывать не будут и что хотят прийти только для того, чтобы посмотреть на меня; после этого я не возражал им больше.

Но я жестоко их надул. Я рассказывал им самые невероятные вещи с такой напускной искренностью, что даже они, знающие меня уже много лет, не возымели ни малейшей тени подозрения. С тех пор немало воды утекло, но даже теперь мое сердце радуется при воспоминании, как ловко я их провел. Они не имели ни малейшего понятия ни о театрах, ни об актерах; поэтому я сказал им, что буду играть роль благородного отца, и объяснил, что фамилия, под которой он играл, — мой театральный псевдоним. Затем я наврал им с три короба о том, каких успехов достигло и до какого совершенства доведено теперь искусство гримировки, и предложил даже пари, что они не узнают меня на сцене, так я изменю свой внешний вид и даже голос, который в театре звучит совершенно иначе. Я не сказал им прямо, какую буду играть роль, но так, в разговоре, несколько раз, как будто не нарочно, обмолвился про седые волосы и потерянного ребенка. А чтобы вернее обеспечить успех своего обмана, я купил такую же палку, какая должна была быть на сцене у старого джентльмена, и нарочно подсовывал ее им на глаза и оставлял ее на самом видном месте.

Мой план удался как нельзя лучше, и старик имел в этот вечер необычайный успех. Он был слишком глух, чтобы знать, что происходит в театре, но все-таки не мог не заметить, что все взоры и главное внимание обращены только на него одного, и что он доставляет части присутствующей в театре публики огромное удовольствие; конечно, последнее обстоятельство несказанно

поражало его. Каждый его выход сопровождался бурной овацией со стороны моих приятелей; в течение всей пьесы они аплодировали каждому его слову и вызывали его по несколько раз после каждого акта. Когда же обнаружились враждебные к нему отношения злодея, и когда он вышел без шапки в снежную, бурную ночь, все вынули платки и стали плакать. По окончании спектакля они послали к старику за кулисы посыльного и велели передать, чтобы артист скорее выходил, так как они ждут его у театрального подъезда…

В общем, это первое представление сошло благополучно. Для театров первые спектакли после открытия сезона представляют самое тревожное время. За кулисами все волнуются, суетятся, бегают как угорелые и трясутся, словно в лихорадке, в особенности же режиссер и главный машинист. Тревожное состояние и волнение, конечно, возрастают пропорционально успеху и сенсации, какими пользуется пьеса у публики.

В настоящее время, как хорошо известно всем театралам, представления в театрах в большинстве случаев проходят гладко, без всяких особенных казусов и крючков. Но в мое время дело обстояло совершенно иначе; представления, особенно первые, проходившие без всяких крючков, были весьма редким исключениям, и, если какая-нибудь сцена сходила благополучно, мы чувствовали такой наплыв радости и восторга, что с волнением пожимали друг другу руки, а особенно чувствительные из нас даже целовались. Я помню, как в одном лондонском театре антрепренер хотел поразить публику следующей сценой: в конце четвертого акта должен обрушиться дом, в котором находится злодей, и придавить его (в буквальном смысле). Сама по себе пьеса не могла иметь успеха, и потому все надежды и ожидания антрепренера сводились к этой «эффектной» сцене.

Дом обрушился превосходно, негодяй был убит на месте, героиня, как раз в последнюю минуту, была спасена героем (странно, что герои всегда как будто караулят где-нибудь за углом), но публика все-таки удивлялась и не понимала, отчего на сцене такой шум и отчего пьеса как будто не окончена.

Когда первое изумление прошло, последовал энергичный вопрос режиссера: кто смел опустить раньше времени занавес? Но, конечно, виновного, как всегда бывает в подобных случаях, не нашлось. Наш режиссер был не такой человек, чтобы гнев его мог скоро оставить, и потому он больше получаса ходил нервными шагами по сцене с палкой в руках, очевидно, ища виновного.

Еще курьезнее, когда поднимают занавес слишком рано. Помню, однажды неожиданно для всех занавес «взвился» раньше

времени и открыл публике следующую картину на сцене:

Король страны сидит рядом со своим умирающим сыном. Он пьет пиво прямо из горлышка бутылки. Его борода и парик лежат около него на полу. Его умирающий сын смотрится в маленькое ручное зеркало и наводит красоту при помощи пуховки. Епископ страны (моя собственная особа) ест пышку, между тем как любезный статист застегивает ему сзади ворот.

Второй подобный случай был в одном из провинциальных театров, где существовала всего-навсего одна только уборная, которая, конечно, отведена была для дам. Мы же, мужчины, одевались на сцене. Можете себе представить, какой произошел крик и смятение, когда подняли занавес раньше времени. Одним словом, получилась картина, какую можно ежедневно наблюдать на берегу морских купаний после восьми часов утра. Публика была в восторге, и ни одна пьеса не пользовалась с тех пор таким успехом, как этот неожиданный случай. Я сильно подозреваю, что подобную штуку сыграл с нами один бессовестный актер из нашей труппы, имени которого я не называю только из уважения к его родственникам, которые, быть может, очень порядочные люди.

Глава IX
Театральные хищники

У первого антрепренера я прожил в Лондоне весь летний сезон, который продолжался целых девять месяцев; тем не менее, по моему мнению, это был счастливейший период всей моей артистической карьеры. Вся труппа состояла из очень милых и сердечных людей. Все они встречали друг друга с распростертыми объятьями и угощали как могли. Между актерами не было никакого кастового различия; по крайней мере, не было той непреодолимой преграды, которая лежит между человеком, продающим каменный уголь тоннами, и человеком, продающим тот же материал сотнями фунтов. «Артистический мир» — та же республика. Первенство и польза идут здесь рука об руку; какое-нибудь театральное светило и простая субретка пьют из одной и той же кружки. Все мы жили вместе в полном согласии, словно братья и сестры (может быть, даже еще больше), и замечательно мило проводили время по вечерам в пустых уборных. Я не помню, чтобы мы когда-нибудь скучали; сколько было шуток, острот, веселых рассказов и анекдотов. Ах, как они умели их хорошо рассказывать! Как много мы ухаживали и смеялись в то время!

Какие нам приносили из кухмистерской вкусные ужины, в середине которых приходилось выбегать на сцену с полным ртом, чтобы спасать несчастную женщину, с которой вечно случались какие-нибудь несчастья, или убивать дядю; как широко должны были мы открывать свои рты, чтобы не испортить гримировки! Как приятно было выпить кружку дешевого пива после столкновения с полицией или борьбы с господином, который похищает девушку! Как приятно было покурить втихомолку и прятать папиросу в сапог при звуке приближающихся шагов, так как курить в театре строго воспрещалось!

С самого начала я был несколько разочарован, так как ожидания мои не сбылись; прослужив без жалованья целый месяц, я думал получить сразу, по крайней мере, три фунта в неделю, но, конечно, ошибся в расчетах. В контракте было сказано, что мне будет назначен гонорар соответственно «выказанным способностям и таланту», но когда наступил день расплаты, то антрепренер заявил, что у него и в кассе нет столько денег, чтобы вознаградить меня по заслугам, и потому предложил мне шесть шиллингов в неделю, причем прибавил, что если я считаю такое вознаграждение слишком ничтожным, то могу вовсе

не брать его. Я, конечно, взял деньги, не говоря ни слова. Я взял и потому, что отлично понимал: антрепренер на мое место сразу найдет двадцать охотников, которые согласятся играть совсем без жалованья, а сам контракт не стоит тех денег, которые заплачены за бумагу. Сначала я очень упал духом, но когда увидел, что вместо шести шиллингов мне в скором времени стали давать двенадцать, а потом даже пятнадцать и восемнадцать, то успокоился и пришел к убеждению, что дела еще не так плохи, как казалось с первого раза. Впоследствии, когда я ближе познакомился с закулисной театральной жизнью и узнал, какие ничтожные гонорары получают даже самые талантливые и известные актеры, тогда только убедился, что восемнадцать шиллингов в неделю совсем не такая дурная плата.

Наша труппа была ангажирована на летний сезон, а плата актерам летом гораздо меньше, чем зимой; вообще, без преувеличения можно сказать, что любой прилежный трубочист зарабатывает больше актера. Публика, читающая, что такой-то актер получает за выход сто или двести фунтов, что такая-то актриса получает восемьдесят фунтов стерлингов в неделю, что такой-то известный комик зарабатывает ежегодно до шестисот фунтов, что антрепренер лондонского театра, действительно, платит различные подати и налоги (так, по крайней мере, он сам утверждает), понятия не имеет о существовании за кулисами театра огромной лестницы. Эта лестница настолько длинна, что можно встретить очень незначительное число людей, которые были бы осведомлены о том, что делается и творится на обоих ее концах. Только этот ограниченный контингент людей может судить о существующем контрасте. Мистер Генри Ирвинг говорит, что в первое время своей артистической деятельности получал всего только двадцать пять шиллингов в неделю и в то время считал это хорошим вознаграждением. В провинции актер, получающий тридцать шиллингов в неделю, считается важной персоной; он должен одинаково хорошо играть Отелло и сэра Питера Тизла и, кроме того, иметь еще собственные костюмы. «Премьерша» может заработать всего только три фунта, а посредственный актер считает себя счастливым, если ему удается получить одну гинею. Давать актеру больше двадцати двух или тридцати шиллингов — значит приучать его к расточительности и нетрезвому образу жизни. В маленьких лондонских театрах жалованья были еще меньше, потому что не было расходов на переезды и т. д.; сумма, которую *обещал* антрепренер давать актеру, колебалась между восемнадцатью шиллингами и двумя фунтами.

Я лично никогда не ожидал, что получу полностью даже

такую сумму, но, в силу каких-то непонятных обстоятельств, наш театр пользовался таким огромным успехом, что даже антрепренер не мог отрицать этого и выдавал нам в течение трех или четырех месяцев жалованье аккуратно и полностью. Это не воображение и не моя выдумка, а факт. Такой случай может удивить читателей, в особенности тех, которые немного знают закулисную жизнь театров, но во всяком случае не так сильно, как он удивил нас. Вся труппа положительно растерялась и в первый момент не знала, что думать и говорить. Единовременная выдача больше пяти шиллингов настолько малознакома актерам, что всякий раз приводит их в какое-то странное состояние, вследствие которого они бродят по театру, словно опущенные в воду, имея страшно виноватый вид. Актеры привыкли получать жалованье следующим образом: сегодня два шиллинга и шесть пенсов, из них шесть пенсов в начале представления, два пенса после первого акта и остальные восемнадцать пенсов в конце представления, когда надо расходиться по домам.

— Вчера вы получили один шиллинг и четыре пенса, а сегодня два шиллинга и шесть пенсов, стало быть, всего вы получили три шиллинга и десять пенсов, не забудьте.

— Да, но ведь за прошлую неделю мне еще следует четыре шиллинга, а за позапрошлую пять шиллингов и шесть пенсов.

— Ну, что за счеты, мой друг; дай Бог свести концы с концами за эту неделю. От сотворения мира нам начать сводить счеты, что ли?

Волей-неволей приходилось вести борьбу не на жизнь, а на смерть из-за каждого пенса и вырывать его почти из глотки антрепренера. Если бы ростовщику так трудно доставались деньги, как актерам, он скорее десять раз предпочел бы потерять весь свой капитал с причитающимися на него процентами, чем вести такую трудную и тяжелую борьбу. Актеры приставали и не давали прохода режиссеру, словно малолетние нищие в Италии или голодные уличные собаки; забирались в театр с раннего утра и караулили его здесь весь день; ждали по целым часам около его комнаты, чтобы наброситься на режиссера, как только он приотворит дверь, и не отставать до тех пор, пока он не швырнет им несчастный шиллинг; прятались в темных углах и выжидали, пока он пройдет мимо них, бегали за ним по лестнице наверх и не отпускали, когда он хотел спуститься и уйти домой; преследовали его в трактирах и ресторанах. Или увлекали его в темный угол и грозили размозжить ему голову, если он не даст им еще шесть пенсов; конечно, последний способ возможен был только в том случае, если актер от природы был рослый и здоровый мужчина, а режиссер маленький и тщедушный. К

счастью, судьба всегда так устраивает, что все режиссеры бывают маленькие и тщедушные, потому что, в противном случае, большинству актеров пришлось бы помереть с голоду.

Очень часто, не добившись никаких результатов от режиссера, актеры оставляли его в покое и отправлялись жаловаться самому антрепренеру; этот последний обыкновенно в таких случаях посылал их к первому, выражая при этом крайне пренебрежительное отношение к таким пустячным вещам, как деньги; когда же ему не удавалось поддеть актера на такую удочку, он посылал за режиссером и продолжал при нем играть ту же комедию и просил из уважения к нему самому (антрепренеру) удовлетворить мистера такого-то и заплатить ему следуемые деньги без замедления; режиссер кланялся и важно обещал исполнить просьбу хозяина.

Интересно посмотреть и послушать, какие происходят сцены за кулисами между актерами и режиссером.

— Послушайте, — говорит тень отца Гамлета, выскочив неожиданно из уборной и представ перед режиссером, который в полной уверенности, что никого нет, хотел воспользоваться удобным случаем и прошмыгнуть вниз, — если вы не дадите мне хоть немного денег, я не выйду на сцену.

— Милый друг, — отвечает режиссер с отчаянием в голосе, и в то же время озираясь кругом, высматривая удобный момент, чтобы улизнуть, — у меня, право, нет денег. При первой возможности вы получите свои деньги. Мне надо идти вниз, там меня кто-то ожидает.

— Какое мне дело, ожидает вас там кто-нибудь или нет. Я ждал вас здесь два вечера подряд, и потому не уйду, пока вы не дадите мне денег.

— Откуда же я возьму вам деньги, если у меня их нет!

Это главная суть того, что отвечает в таких случаях режиссер; все остальные добавления лучше пропустить. Реализм — превосходная вещь, но даже Золя находит ему границы.

После этого, видя, что актер принимает решительный вид, он начинает рыться в своих карманах, вытаскивает оттуда полкроны и дает ее актеру, не ожидая и не требуя от него никакой благодарности.

— Что вы, с ума сошли, — кричит актер, быстро спрятав полученные деньги в карман, — не могу же я прожить четыре дня на полкроны.

Тогда режиссер с ожесточением и с нецензурными добавлениями швыряет ему еще пять шиллингов и опрометью бросается вниз, так как слышит на лестнице новые приближающиеся шаги и боится нового нападения.

Главная характерная черта всех антрепренеров и режиссеров — это то, что у них никогда нет денег. Если поймать их с полною горстью золотых монет, они в силу привычки скажут:

— Право, у меня нет денег, мой друг. Сколько вам нужно?

Женщины, конечно, не могут драться с режиссерами из-за денег, но зато они прибегают к другой политике и применяют спокойную, упорную настойчивость, которая приносит им гораздо больше пользы, чем наш насильственный образ действий. Свойственные одному только женскому полу вкрадчивость и способность подлаживаться пробуждают гуманные чувства даже у таких толстокожих людей, как режиссеры. Но никто не жалуется на такое ненормальное положение вещей. Радость и удивление, наступающие после получения денег, бывают столь велики, что все предыдущие заботы и невзгоды сразу забываются и изглаживаются. Актеры так привыкли, что их со всех сторон обирают и обкрадывают, что потеря только части своих денег считается между ними пустяком, на который не стоит обращать внимания. Режиссеры так часто обманывали, надували и скрывались, что актеры волей-неволей привыкли и стали относиться к этому совершенно равнодушно. Когда сбегал их антрепренер, они только вздыхали и шли к другому, который поступал с ними точно таким же образом.

В мое время такие вещи совершались на каждом шагу, вследствие чего неудивительно, что с понятием театрального антрепренера неразрывно было связано понятие о ворах и хищниках. По моему мнению, когда кого-нибудь выгоняли отовсюду и не было никакой надежды поступить на службу, такой человек делался антрепренером. Должно быть, это была очень выгодная игра, во всяком случае, не сопряженная ни с каким с их стороны риском. Никто не думал вмешиваться в их дело или протестовать против таких мошеннических операций. Если и случалось, что какой-нибудь неопытный антрепренер попадал в руки полиции, то он не особенно дрожал за свою шкуру. Мировой судья смотрел на эти проделки как на самую обыкновенную штуку, никогда не подвергал их наказанию и только говорил:

— Пожалуйста, не делайте этого больше.

Среди актеров они пользовались уважением, во-первых, как хозяева, а во-вторых, как люди, отмеченные талантом. Даже к самым негодным антрепренерам и режиссерам относились с вежливостью и никогда в их присутствии не позволяли себе упоминать о таких предметах, как мошенничество и нечестность, боясь оскорбить их чувства и задеть за живое.

Что, вы думаете, делают актеры и актрисы, когда приезжают, например, из Лондона в Абердин, чтобы поступить в труппу

мистера Смита, и узнают, что этот Смит тот же самый негодяй, который, под целой дюжиной других имен, неоднократно надувал их и целую дюжину других их товарищей по профессии? От чистого сердца жмут ему руку, припоминают, что раньше уже имели удовольствие быть с ним знакомы, и в душе думают, что на этот раз уж он не станет их обманывать! И что же вы думаете, в следующую субботу, пользуясь удобным моментом, когда актеры играют на сцене, он забирает из кассы все деньги, собранные за неделю, и удирает в соседний город, где составляет новую труппу актеров уже под именем Джона.

Не завидую положению мужчины, а тем паче бедной девушки, оставленным без гроша в чужом городе за несколько сот миль от дома. Бедные актеры помогают друг другу, но что же тут поделаешь, если, в большинстве случаев, ни у кого из них нет денег. После таких расходов, как поездка в город, куда они поступили на службу, и издержки на жизнь в течение целой недели, у редких из актеров, которые в таких случаях считаются капиталистами, заваляется в кармане каких-нибудь несчастных несколько шиллингов. Весь гардероб остается в залоге у сердитых хозяек, где они прожили целую неделю, а пока он не будет выкуплен, нельзя получить другого ангажемента, потому что ни один антрепренер не принимает без костюмов. Приходится закладывать решительно все, что принимают в заклад, даже обручальные кольца, и возвращаться домой с печальными лицами и пустыми карманами.

Кровь останавливается в жилах, когда вспоминаешь те несчастья, которые причиняют бедным актерам эти мошенники и негодяи. Я знал мужчин и женщин, принужденных возвращаться домой пешком по «шпалам» и ночующих где попало, под открытым небом, а в дождливую и холодную погоду где-нибудь в сараях. Я знал актеров и актрис, продающих последнюю рубаху, чтобы приобрести свежие костюмы. Мне пришлось быть свидетелем, как одного молодого актера бросили без гроша денег в Глазго. С ним была молодая, болезненная жена на последних месяцах беременности. Продав все, что было возможно, у него хватило лишь столько денег, чтобы поехать в Лондон на простой барке, отправляющейся туда, кажется, с каменным углем. Это было в середине января, погода стояла отчаянная; вследствие сильного ветра и качки барка переплывала канал целую неделю и, наконец, благополучно прибыла в Лондон. Но больная женщина не вынесла такой тяжелой дороги и тотчас же, по приезде домой, скончалась в страшных мучениях.

Есть антрепренеры, которые не желают подвергать свою особу всем неудобствам бегства и надувают актеров другим, более

благородным способом; они выплачивают каждому члену труппы по одному шиллингу и уверяют, что больше не могут содержать театр, так как совсем обанкротились. На возражения и жалобы актеров они стараются их утешить, что сами они (антрепренеры) потеряли на этой операции гораздо больше.

Что же касается этих людей, то на самом деле они ничего не теряют, потому что им нечего терять. Все это люди безденежные, которые спекулируют и выезжают на спинах бедных актеров, причем весь риск прямо ложится на труппу, а все барыши переходят в карман антрепренера.

Еще хуже, когда антрепренер предлагает актерам образовать товарищество «на паях». Все сводится к тому, что, если предприятие прогорает, актеры мало того что ничего не получают, но теряют еще свои деньги; в противном же случае, когда дела театра идут успешно, они тоже ничего не получают, потому что антрепренер забирает все деньги и удирает. Можно сказать без преувеличения, что актеры из всех имеющих отношение к сцене — самые последние люди. На них, безусловно, обращают внимание меньше всех.

Если бы кто-нибудь из моих приятелей захотел сделаться антрепренером, то, желая удержать его от ненужных расходов, я дал бы ему следующие практические советы: плати человеку, расклеивающему афиши, потому что, в противном случае, он их вовсе не наклеит или наклеит вверх ногами; плати за объявления и публикации, или их не поместят; плати плотникам и декораторам, если не хочешь остаться в день представления без декорации; плати ростовщикам, а то они сами взыщут с тебя деньги; плати газовому обществу, а то в середине представления во всем театре будет отключен газ; плати арендную плату, а то в один прекрасный день очутишься на улице. Аккуратно плати статистам, потому что они страшно подведут тебя и уйдут к другому в самый последний момент. Ради Бога, ни минуты не задерживай денег поденщице, а то она житья тебе не даст. Затем, если не хочешь в понедельник получить повестку из мирового суда, выплати жалованье рассыльному мальчику все до копейки в субботу вечером. Вот люди, которым *необходимо* платить деньги аккуратно. Если ты хоть на йоту отступишь от этого правила, то через несколько дней тебе придется закрывать лавочку. *Остальным можешь никому не платить.* Конечно, если у тебя останется несколько лишних шиллингов, раздели между актерами и актрисами, хотя это не обязательно. Актеры все равно будут одинаково хорошо работать, заплачено им или нет.

Есть еще один человек, которому не надо платить, — это автор пьес. Платить ему подчас бывает даже опасно. Он так не

привык к этому, что от неожиданности с ним может случиться апоплексический удар.

Правда, вся труппа будет приставать к тебе, ругаться, может быть, даже драться, но ты не обращай на это внимания, и тогда все они скоро от тебя отстанут. Что касается актеров и актрис, то им и в голову никогда не приходит принимать какие-нибудь репрессивные меры. На человека же, который бы посмел им посоветовать что-либо подобное, они посмотрели бы как на субъекта с опасными революционными идеями, который рано или поздно завлечет их в рискованную историю. Совершенно бесполезно и даже опасно актеру защищать свои права. Я помню, как один из таких неопытных новичков подал в суд на антрепренера, который не хотел ему отдать семь фунтов стерлингов. Истратив на судебные издержки десять фунтов, он, наконец, выиграл дело: судья приговорил антрепренера выплачивать актеру по десяти шиллингов в месяц. Такая история быстро стала известна всему театральному миру, и ни один антрепренер не хотел принять этого несчастного актера к себе в труппу.

— Что ожидает сцену, если подобные истории будут повторяться чаще? — говорили они.

Не молчали и газеты. Они тоже обвинили актера и удивлялись, как он (актер) мог вынести сор из избы и разворачивать перед публикой грязное белье.

Все эти сделанные мною замечания относятся к прежнему, старому времени. Многое переменилось с тех пор, как я покинул сцену, что сердечно меня радует.

Глава X
Я покупаю корзину и отправляюсь в провинцию

В начале декабря кончался сезон нашего лондонского театра, так что в конце ноября мы аккуратно проглядывали каждый номер театрального журнала, ища там интересующие нас объявления. Перед Рождеством нетрудно найти ангажемент и поступить в какую-нибудь труппу; везде печатаются объявления и публикации, что требуются «полезные актеры», «умные актеры», «талантливые актеры», «актеры для всякого амплуа» и «актеры для драматических ролей». Я написал письмо только по адресу одной публикации и сразу был принят; но такую удачу я приписываю исключительно тому, что приложил к письму свою фотографическую карточку.

Наша труппа должна была давать представления в одном провинциальном городке на западе Англии; решено было открыть сезон с пантомимы. Я приехал туда за неделю до Рождества и здесь узнал, что всю неделю репетиций буду получать половинное жалованье, а потом по одной гинее в неделю, причем все путевые расходы дирекция принимала на свой счет.

Мне повезло и на этот раз: мой антрепренер оказался самый благородный и честный господин, какого только можно было встретить среди людей этого звания. Нам никогда не приходилось просить денег, потому что их всегда выдавали очень аккуратно и полностью, безразлично — хорошо ли шло дело театра или плохо. Остальные театральные антрепренеры не любили его за честность и по злобе называли подозрительной личностью.

Прежде чем покинуть Лондон, я решил пополнить свой гардероб. У меня и раньше был небольшой запас сапог, башмаков и панталон, но все это составляло только небольшую часть тех предметов, которые должны быть у каждого актера. Прежде всего надо было купить парики; цена каждого из них колебалась между семью шиллингами и двумя фунтами. Я выбрал семь или восемь — один «белый напудренный», «рыжего Джорджа», «с роскошными кудрями» (почему он носит такое красивое название, я и сам не знаю), «комический», «лысый», и еще один для всяких неопределенных ролей.

Затем, в воскресенье утром, я перерыл чуть ли не все существующие костюмы в Петикоат-Лейн. Это известное место, где продаются театральные костюмы. Там я приобрел за пять шиллингов полный матросский костюм и лакейскую ливрею за

шестнадцать пенсов. Здесь же продавалось большое количество старомодных фраков, вышитых жилетов, штиблет, блуз, коротких панталон, шляп, сюртуков и шпаг — все за весьма умеренную цену.

Мои сестры также сшили мне несколько изящных костюмов (к этому времени они уже примирились с моей «безумной фантазией» и даже отчасти были довольны, что в их семье есть артист). За остальными необходимыми вещами я обратился к настоящему костюмеру. Все это вместе с простыми принадлежностями моего гардероба, вместе с книгами, с ящиком, где помещались все принадлежности для «гримировки», чернильный дорожный прибор и проч. и проч., составило порядочное количество вещей, число которых со временем должно было все увеличиваться и увеличиваться; поэтому я решил купить дорожную корзину, куда бы все можно было уложить.

Нашел я очень большую корзину, она сохраняется у меня до сих пор и стоит в прачечной под лестницей.

Как я ни старался и что ни делал, никак не мог от нее отделаться.

Переезжая на другую квартиру, я пробовал оставлять ее, но всякий раз, спустя некоторое время, мой старый хозяин присылал ее ко мне; обыкновенно ее привозили на ломовом извозчике два мужика, воображая, что возвращают мне драгоценный клад. Когда же они видели, что я отношусь к их стараниям совершенно равнодушно, разочаровывались и уходили домой несолоно хлебавши. Я старался всячески заманить к себе в дом уличных мальчишек и обещал дать им полкроны, если они избавят меня от этой несносной корзины. Но такие предложения почему-то всегда пугали их; они убегали домой, рассказывали про это своим отцам и матерям, а те, в свою очередь, распространяли про меня всякие нелепые слухи, будто я задумал совершить преступление. Я хотел воспользоваться темной ночью и подкинуть ее кому-нибудь из соседей, но это легко было говорить, а трудно сделать с такой махиной, как моя корзина.

Укладывать в нее вещи всегда приходилось внизу, в передней, потому что ее нельзя было пронести ни по одной лестнице. Стояла она всегда у парадных дверей, которые, вследствие этого, отворялись только на шесть дюймов, чтобы пропустить людей. Невозможно припомнить, сколько людей разбило себе носы из-за этой несносной корзины. Хозяин дома, возвращаясь домой поздно ночью, наткнулся на нее, стукнулся головой о дверь и, воображая, что на него напали воры и разбойники, стал кричать «караул!» и звать на помощь полицию.

На нее же всякий раз натыкалась горничная, возвращаясь из погреба с пивом. И так как всегда при этом на корзину проливалось пиво, то скоро все вещи в ней так им пропитались, что от них несло, как из пивной.

Как только дело касалось корзины, со всех сторон сыпались такие ругательства, что прямо самому становилось неловко. Носильщики и извозчики хватали ее с ожесточением и так ругались всю дорогу, что кровь останавливалась в жилах. Все хозяйки встречали меня сначала ласково и приветливо, но, как только я привозил с вокзала корзину, сразу переменялись в лице и становились злы и раздражительны. Не было ни одного человека, который бы хорошо отозвался о моей корзине; все ненавидели и ругали ее площадными словами. Сначала я опасался, что в один прекрасный день все враги ее вооружатся и сотрут ее с лица земли; но нет, она пережила и перенесла все пытки, колотушки и осталась цела и невредима, так что я пришел к заключению, что, по всей вероятности, мне придется быть в ней похороненным.

Верный старый друг корзина! Сколько лет прошло с тех пор, как мы отправились с тобою из Лондона в тот знаменательный день 17 декабря, сколько возни и хлопот с тобою было, сколько я натерпелся из-за тебя неприятностей с кучерами! Зачем ты покинула меня в Бристоле? Зачем?!.

Но с какой стати я заговорил таким высокопарным, возвышенным слогом? Во-первых, это очень трудно, и я целых полчаса просидел, бессмысленно глядя на лампу, изгрыз все перо и все-таки ничего не придумал, а между тем передо мною лежит еще не исправленная корректура, которою душит меня типография. Вот и сейчас на лестнице сидит мальчишка из типографии и ждет ее. Могли бы они, по крайней мере, присылать мальчишек, которые не умеют так громко свистеть.

Желая поделиться с читателями воспоминаниями о своих гастролях, воспользуюсь некоторыми из большой пачки писем, которые я писал из провинции своему другу Джиму.

«Дорогой Джим! Нам (мне и корзине) не повезло в дороге; я потерял ее в Бристоле, так что пришлось телеграфировать. Я чувствую, что эта корзина сделает меня на всю жизнь несчастным. Она имеет одно только преимущество: по ней сразу узнают, что я актер, и не просят на чай. Здесь я нашел очень сносное помещение. У меня очень большая и хорошая спальня, она же служит и гостиной; всего-навсего, вместе с прислугой и со столом, плачу четыре шиллинга в неделю. Хозяева все симпатичный народ, в доме у них чисто и опрятно, к тому же есть миленькая дочка.

Я хотел написать тебе раньше, но все время был страшно занят. Каждый день бывает по две или по три репетиции, кроме того, мы помогаем красить декорации. Дела театра идут очень хорошо: каждое представление почти полный сбор, то есть больше пятнадцати фунтов. Вчера в ложе сидел сержант Парри и один известный лондонский актер, я забыл его фамилию. Мы (я говорю «мы», потому что нам приходится помогать во всем: так, двое из нас встают рано утром и отправляются расклеивать по городу афиши; у нас есть для этого человек, но он страдает запоем и в настоящее время запил). Теперь, кроме того, мы возимся со статистами и обучаем их балетным танцам.

Если бы ты видел, как они танцуют; их можно слышать за целую милю, весь театр сотрясается, когда они начинают танцевать.

Статистов для театра и для балета мы набираем из рыбацкой деревни, расположенной недалеко от города; конечно, все они в первый раз выступают на сцене; на первое время балет состоит из восьми человек, но потом мы думаем его значительно уменьшить. Кроме того, мы обучаем двенадцать детей для майского танца. Приятно смотреть на них.

Они получают за вечер всего только три пенса, но испытывают удовольствие и веселятся на целых три шиллинга. Между ними есть одна девочка с ангельским личиком — откровенно говоря, я никогда не видел ангелов и предполагаю, что не увижу до самой смерти, но почему-то мне кажется, что у нее именно такое лицо, как у ангелов. В семь часов вечера она уже совершенно одета и с этих пор до самого выхода на сцену, то есть до десяти часов, не перестает петь и плясать. Когда же ей приходится танцевать на сцене майский танец, она стоит, широко открыв рот, и хохочет, сама не зная над чем. В общем, она так волнуется, что всегда все путает и танцует не с тем мальчиком, с которым надо, а с другим и, что страннее всего, всегда с одним и тем же.

Но этот мальчик еще слишком мал и потому не сознает своего счастья. По окончании танца маленькие мальчики должны целовать девочек. Надо видеть, как эти маленькие красавицы отворачиваются в сторону и отталкивают своих маленьких ухажеров. Мальчики ведут себя очень застенчиво, а девочки — очень развязно и нисколько не стесняются. В этом-то и заключается превосходство женщин над мужчинами!

Все костюмы для пантомимы выписаны из Лондона и потому очень изящны, хотя немножко дороги. Идет пьеса «Уайтингтон и его кошка», собственное сочинение нашего антрепренера; она почти вся состоит из пения и танцев, говорят там очень мало, но

и оно представляет собой сплошную глупость.

Мне приходится петь там два раза, кроме того, я пою еще один раз в другой пьесе. По моему мнению, петь совсем не трудно, но меня изводит оркестр. Я чувствую себя гораздо свободнее, когда нет музыки. Кроме того, в этой пантомиме много куплетов, составленных на злобу дня. Таким образом, как ты видишь, мы строго следуем совету мистера Пиквика и стараемся, как можем, подлаживаться под вкусы публики, а уж та веселится от души. Ты себе представить не можешь, с каким энтузиазмом был встречен вчера куплет, сочиненный по поводу новых фонарей, поставленных на главной улице города.

Наш комик учит меня танцевать и заставляет упражняться чуть ли не по целым дням. Признаться тебе, это ужасно тяжелая работа, но теперь я почти уже постиг премудрость танца «хорнпайп». Я лично очень доволен, что умею его танцевать, потому что ничем нельзя так растормошить сонную провинциальную публику и привести в восторг, как этой удалой пляской.

Сам антрепренер очень угрюмый человек, но режиссер славный малый: он обращается с нами — актерами — весьма вежливо и с большим уважением, как будто бы мы были театральными плотниками; деньги платят аккуратно.

Наш премьер никогда не является на спектакли, и потому его роль совсем вычеркнута; нельзя сказать, чтобы пьеса от этого выиграла.

В начале пьесы я играю роль ленивого чиновника (это напоминает мне те дни, когда я действительно служил на гражданской службе), а потом первого министра в Титтату; на переодевание и перегримировку у меня всего только три минуты времени. Роль первого министра можно сыграть остроумно и смешно, но роль чиновника не требует никаких артистических способностей. Я притворяюсь спящим, в это время подходит ко мне клоун, который играет роль второго чиновника, и хватает меня кулаком по голове; тогда я просыпаюсь и, в свою очередь, наношу ему кулаком удар по голове, он бросается и начинает меня колотить, сначала он застигает меня врасплох, потом я застигаю врасплох его; неожиданность, с которой мы нападаем друг на друга, сильно бьет публику по нервам; после этого между нами завязывается отчаянная драка, в которой принимает участие и кот. Вчера, во время этой сцены, я расшиб себе голову (хорошо, что не другую часть тела) и сломал стул во время борьбы. Публике это очень понравилось; она потребовала повторения этой сцены, но я не пожелал разбивать себе вторично голову.

Хорошо, что здесь нет моих лондонских знакомых и

приятелей. Не думай, что играть на сцене — значит все время объясняться в любви в пышных костюмах или драться на дуэли настоящими рапирами.

В следующую субботу, кроме пантомимы, будет поставлена еще драма. Представь себе меня в роли почтенного отца, благословляющего на брак нашего режиссера и премьершу, которым в сложности больше восьмидесяти лет. Я не вру, мне дали такую роль.

В сочельник перед Рождеством все мы обедали с антрепренером в гостинице и очень весело провели время; разошлись по домам в четыре часа утра.

На обеде я узнал, что каждому из нас дают бенефис. Я очень обрадовался, узнав об этом, но другие, наоборот, как будто опечалились. Наш первый любовник рассказал мне, что прошлый его бенефис обошелся ему в тридцать шиллингов. Я думаю, что лучше, в таком случае, отказаться от бенефиса. Дело в том, что бенефициант все издержки платит из своего кармана, а получает только половину прибыли. Единственно, что меня привлекает, так это свободный выбор пьесы и роли в ней. Конечно, я попробую выступить в роли Ромео.

Я отведал, что значит иметь успех в театре, и теперь сам не рад. Представь себе, меня узнали на улице; за мной бежала целая толпа мальчишек. Они, очевидно, ожидали, что я остановлюсь где-нибудь на углу улицы и запою.

Мужская уборная помещается у нас где-то на антресолях; проникнуть туда можно только по приставной лестнице. Вчера кто-то выкинул штуку: убрал ее, так что бедный комик, игравший в пьесе, никак не мог спуститься оттуда. Мы этого не знали; вдруг выходит на сцену Лоре Гемберлен и говорит:

— А вот и принц.

Но принц не является. Тогда Лоре Гемберлен вторично повторяет:

— А вот и принц.

Публика начала хохотать.

Тогда вдруг сверху раздался неистовый крик:

— Да замолчишь ли ты, старый дурак? Где лестница?

Однако и мне пора замолчать; уже половина восьмого, а в восемь начало спектакля. Отвечай скорее, милый друг; пиши, что нового. Видел ли ты с тех пор красавицу?..»

Впрочем, остальная часть письма не имеет совершенно никакого отношения к театру.

Глава XI
Спектакли в провинции

Я думал, что на все лето останусь у того же антрепренера, и в душе радовался, что подобралась такая хорошая компания. Но неопределенность актерского положения может конкурировать с неизвестностью выигрыша на скачках. Наша труппа как-то расстроилась и разбрелась во все стороны, и я, спустя два месяца после того как покинул Лондон, очутился в противоположной части государства уже в обществе совершенно другой труппы актеров.

Хотя мне недолго пришлось играть в первом провинциальном театре, тем не менее я составил себе совершенно ясное представление о провинциальных театрах вообще. Вот что я писал во втором письме к своему другу, через две недели, когда сняли со сцены пантомиму и стали ставить настоящие пьесы:

«Пантомима уже снята со сцены. Мне лично она не нравилась, хотя она имела то большое преимущество, что, пока она шла, не было никаких занятий и репетиций; мы были целый день свободны и могли веселиться и веселились напропалую. Теперь же нельзя ни кататься на коньках, ни устраивать поездок за город, прогулок, ни даже прочесть за один день роман. Каждый день идут две, а то и три новые пьесы. Большинство актеров знают все пьесы наизусть, как дважды два четыре, но для меня все это совсем ново. Ты себе представить не можешь, как это неудобно: не знаешь сегодня, что будешь играть завтра. Каждый вечер на дверях театра красуется новая программа; хорошо, если ты успеешь первый захватить у режиссера книгу, чтобы списать свою роль; в противном случае, если тебя кто-нибудь предупредит, изволь ждать до следующего утра и в какие-нибудь восемь часов переписать и выучить иногда довольно большую роль.

Очень часто за кулисами происходит чуть ли не драка из-за ролей. Комик не хочет играть роли стариков. Это совершенно не его амплуа и его приглашали не для того, чтобы играть каких-то стариков. Благородный отец пожимает плечами и удивляется, откуда режиссер взял, что он станет играть роли вторых стариков. Никогда в жизни его никто так не оскорблял. Он играл в свое время с такими знаменитыми актерами, как Кин Макрели, Фелпс и Матье, и никто из них не предлагал ему таких ролей. Первый любовник заявляет, что на своем веку он видел много

странностей, но первый раз видит, чтобы роли jeune premier'a отдавали второму любовнику. Этот последний — что он здесь ни при чем, что он сам не хотел играть эту роль, но что ему насильно навязал ее режиссер. Первый любовник соглашается, что вина здесь не его, а что во всем виноват дурак-режиссер. С этим соглашаются все актеры.

Обыкновенно в таких случаях это кончается тем, что спорную роль дают мне, так как я был ангажирован антрепренером для всяких амплуа. Режиссер утешает меня и уверяет, что это лучше для меня, так как я имею возможность отличиться и проявить свои артистические способности. Но я не согласен с режиссером, ибо благодаря этому единственно, что я имею возможность сделать, так это не спать всю ночь. Неужели они думают, что можно сделать из роли что-нибудь оригинальное и осмысленное, если дадут ее накануне спектакля? Да за это время нельзя даже понять самый смысл слов. Странные люди эти провинциальные режиссеры: они не позволяют, чтобы вы создавали свой собственный характер, они требуют, чтобы вы каждую роль играли по одному и тому же шаблону. Они утверждают, что провинциальная публика не любит и не понимает оригинальных вещей. Ты не поверишь, что сделалось с нашим антрепренером. Бывало, к нему не подступишь. Важности миллион двести тысяч; при виде его можно было подумать, что это сам начальник станции. А теперь куда давалась спесь; он похож на гуттаперчевый шар, из которого выпустили воздух, а все потому, что приехала его жена.

Теперь число семейных увеличилось; до сих пор у нас было только три женатых актера. Жена нашего комика, играющая роли субреток, очень красивая женщина (почему это у красивых жен мужья всегда уроды?). Вчера я играл с нею, и нам пришлось два или три раза поцеловаться. Я ничего не имею против того, чтобы это повторялось чаще; она гримируется очень мало, а других актрис как поцелуешь, целый рот набьется пудры, белил и румян.

В субботу меня первый раз вызывали; театр был полон. Конечно, я очень обрадовался, но потом, когда пришлось выходить второй раз, я порядочно-таки струхнул. А что, если я ошибся и вызывали вовсе не меня, подумал я. Но занавес подняли, я раскланялся, и раздался новый взрыв аплодисментов. Я играл комическую роль Жака в «Медовом месяце». Говорят, что я лучше исполняю комические роли, но мне это совсем не нравится. Я во сто раз предпочел бы блистать и отличаться в какой-нибудь классической трагедии. Я не люблю шутовства; по-моему, гораздо почетнее заставлять публику плакать, чем смеяться.

К тому же я положительно не могу играть в фарсах, потому что не бываю в силах удержаться от смеха, когда слышу, что публика хохочет. Конечно, со временем я мог бы отучиться от этой дурной привычки, но совладать с собою сразу невозможно; я мог бы еще удержаться от смеха, если бы публика не смеялась, но раз она захохотала — я пропал. И не только мои собственные шутки заставляют меня смеяться. Что бы ни произошло на сцене смешного или курьезного, я хохочу от всей души.

Вчера я играл роль Франка в комедии-шутке «Майор в сапогах». Майор вышел на сцену в очень смешном костюме, и это так меня смешило, что я едва справился со своей ролью. Конечно, если бы одна и та же пьеса шла несколько раз, то к ней можно было бы привыкнуть, но если каждый вечер идет какая-нибудь новая смешная пьеса, то нет ничего удивительного, что хохочешь как сумасшедший.

Один господин со времени открытия театра не пропустил ни одного представления. Одна и та же пантомима шла в течение целого месяца, и он аккуратно приходил на каждое. Мне и то она надоела хуже горькой редьки, а как он мог высиживать каждый вечер с начала до конца — для меня прямо непонятно.

Вообще, в театр ходит очень мало публики, но зато те, которые посещают его, посещают аккуратно.

Впрочем, удивляться нечего, потому что единственное развлечение в городе наш театр. На днях привезли показывать очень толстую женщину но никто не стал смотреть ее, потому что в городе и без нее довольно своих толстух».

Глава XII
«Безумный Мак» находит удобный случай

Прежде чем отправиться к своему новому антрепренеру в какую-то глухую провинцию, я заехал на один день в Лондон и зашел посмотреть, что делается в моем старом театре. Состав труппы был совершенно новый, остались только те же плотники и статисты. Милый Джим нисколько не изменился.

— Ба, — сказал он, увидев меня, — должно быть, вы сильно влюбились в это место, что не можете с ним расстаться. Какой черт вас принес сюда?

Я объяснил ему, что, конечно, сильное желание повидать его заставило меня заглянуть в эту трущобу. Тут же я нашел и безумного Мака. Здесь ставили пантомиму, и Мак играл демона с картонной головой. Я узнал от него, что его страшно обижают и поступают с ним несправедливо. Оказывается, публике очень нравится сцена, когда два демона, Мак и его брат, дерутся с шутом; их постоянно вызывают, аплодируют, а режиссер не позволяет им выходить и благодарить публику за внимание.

— Это все от зависти, — шепнул мне Мак, когда мы входили в ресторан (для актера положительно непонятно, как можно, встретив человека, который не лишен глотательной способности, не предложить ему выпить рюмку виски), — зависть и больше ничего. Я начинаю приобретать популярность, и вот они боятся, что я стану им поперек дороги.

Бедняга еще больше помешался; только что я подумал об этом, как он огорошил меня вопросом:

— Скажите по правде, я сумасшедший?

Ужасно бывает неловко, когда сумасшедший задает вам такие вопросы. Что отвечать в таких случаях? Не успел я сообразить, что ответить, как он продолжал:

— Многие говорят, что я сумасшедший; я слышал это собственными ушами. Даже если бы это было правдой, то и тогда некрасиво с их стороны бросать в лицо джентльмену подобные упреки, но это неправда — я не сумасшедший. Скажите откровенно, что, по-вашему, я сумасшедший?

Застигнутый врасплох, я ухватился за виски и сделал несколько глотков, запивая водой, стараясь таким образом оттянуть время и сообразить, что ответить.

— По моему мнению, вы немного эксцентричны, но…

— Вот-вот, — перебил он меня взволнованно, — эксцентричен, согласен, а они называют меня сумасшедшим. Но,

уверяю вас, это недолго будет продолжаться — они скоро узнают мое настоящее имя. Тогда они перестанут называть меня сумасшедшим. Сумасшедший! Ну не дураки ли они после этого, когда не могут отличить здравого человека от сумасшедшего?

Я докажу этим дуракам, идиотам, болванам, кто из нас сумасшедший. «От сумасшествия до гениальности всего только один шаг». Кто сказал это, тот был гений, а они, наверно, назовут его сумасшедшим. Уверяю вас, что все они дураки, ужасные дураки. Как же их назвать после этого, если они не могут отличить гения от сумасшедшего?

Хорошо, что в это время никого не было в ресторане, а то бы его страстная речь привлекла всеобщее внимание. Он хотел было декламировать мне отрывки из своей любимой роли — Ромео, но я удержал его, обещав прийти к нему вечером и прослушать всего Ромео.

Когда мы собрались выходить, я сунул руку в карман, чтобы вынуть деньги и заплатить, но оказалось, что он опередил меня и уже положил деньги на конторку. Как я ни уговаривал его, он ни за что не хотел взять назад деньги на том основании, что три месяца тому назад я как-то угощал его. Получая несчастные шесть шиллингов в неделю, он был горд, как Крёз, имеющий шестьдесят тысяч годового дохода. Так он заплатил восемнадцать пенсов и расстался со мною, взяв с меня слово, что я приду к нему вечером.

— Не взыщите, — сказал он на прощание, — квартира у меня не шикарная, но ведь трудно ожидать особенных удобств от холостого помещения. Для настоящего моего положения она годится.

Хотя слушать сумасшедшего, как он будет декламировать всего Ромео, не очень-то веселое времяпрепровождение, тем не менее я не хотел разочаровывать бедного товарища и решил пойти к нему после театра, где я сидел и ощущал радостное сознание, что для моего увеселения на сцене люди волнуются и работают.

После спектакля я пошел по данному мне Маком адресу. Квартира его помещалась где-то на задворках. Дверь была отворена настежь, несмотря на то что было уже за полночь. На лестнице лежал, свернувшись клубочком, ребенок, а в узком коридоре спала женщина. В темноте я наткнулся на нее, но она, очевидно, так к этому привыкла, что только подняла голову и сейчас же опять заснула. Мак предупредил меня, что живет на самом верху, поэтому я поднимался до тех пор, пока не кончилась лестница и идти было некуда. Тут я остановился и, увидев через замочную скважину свет, вошел в комнату. На сломанной кровати

сидело какое-то фантастическое существо в ярком костюме, с длинными локонами, рассыпавшимися по плечам. Сначала я не мог понять, кто это такой, но потом сообразил, что это Мак приготовился к роли Ромео, и вошел в комнату.

Я еще утром заметил, что Мак не такой, как всегда, но теперь, когда увидел его встревоженное лицо с грустным-грустным отпечатком и его большие, дико блуждающие, подведенные глаза, положительно испугался за него.

Он протянул мне свою белую, сухую руку, но продолжал сидеть.

— Простите меня, — сказал он тихим, слабым голосом. — Мне что-то не по себе. Я не могу продекламировать вам Ромео. Мне ужасно досадно, что я побеспокоил вас напрасно, но я надеюсь, что вы придете ко мне еще раз, когда мне будет получше.

Я уложил его в кровать и укрыл валяющимся тут же старым тряпьем. Он полежал несколько минут, потом посмотрел на меня и сказал:

— Я не забуду вас, Л., когда сделаюсь знаменитым и могущественным. Вы были так любезны со мною, несмотря на мою бедность, я никогда этого не забуду. Мне скоро представится удобный случай, очень скоро, и тогда…

Он не окончил этой фразы и стал бормотать отрывки из своей роли, а через несколько минут заснул. Я осторожно вышел из комнаты и пошел за доктором. К счастью, мне удалось довольно скоро найти одного доктора, и вместе с ним я вернулся на чердак к Маку. Он продолжал спать; потом, рассчитавшись с доктором, я ушел домой, потому что на следующий день должен был выехать с ранним утренним поездом.

С тех пор я не видал больше несчастного Мака. Люди, которые живут всю жизнь на шесть шиллингов в неделю, недолго собираются умирать, раз пришли к убеждению, что пора умирать; так и безумный Мак, два дня спустя после того как я был у него, нашел удобный случай и отошел в вечность.

Глава XIII
Квартиры и квартирные хозяйки

На Восточной железной дороге меня в первый раз заставили приплатить за багаж, и с тех пор я ненавижу эту линию железных дорог. Я не спорю, что моя корзина весила больше того количества фунтов, которое полагается провозить даром на один пассажирский билет, но актеры своими постоянными путешествиями приносят так много доходов железным дорогам, что правление железных дорог смело могло бы делать им льготы. Однако служащие на станции Бишопсгейт были неумолимы.

Напрасно я старался уверить их, что моя корзина «легка, как перышко». Они поставили ее на какую-то шаткую, небольшую платформу, подвигали вправо и влево какую-то штучку на перекладине и потом подали мне какой-то дурацкий счет в 4 шиллинга и 4 пенса; я, конечно, отказался принять его и объяснил, что он мне совсем не нужен, и потому они могут его оставить себе на память, но все мои штуки и уловки не помогли, пришлось заплатить требуемую сумму.

Наконец, в полдень я прибыл на место своего назначения, в небольшой торговый город. Такого мертвого и безлюдного места я в жизни своей никогда не видал.

Вообще, все восточные города Англии не отличаются оживленностью и многолюдством, но этот превзошел всех своим полнейшим отсутствием жизни. На вокзале не видно было ни одной живой души. На дворе одиноко стоял кэб, запряженный хромой клячей, уныло опустившей голову и согнувшей передние ноги; кучера же нигде не было видно поблизости.

Должно быть, отчаянный дождь, ливший в это время, смыл его с лица земли. Оставив вещи на вокзале, я отправился прямо в театр.

Две или три зеленые афиши расклеены были на углах; я поинтересовался, что там напечатано, и прочел следующее: «Театр Рояль доводит до сведения публики, что на днях поставлен будет на сцене «Ричард III» и «Свидетель-идиот», в исполнении известного всему миру трагика (такого-то) из Друрилейнского театра. Просят не опаздывать». В театре я нашел всю труппу в сборе; очевидно, тоскливый, унылый вид города отразился и на ее настроении. Все они страдали насморком и поминутно чихали и сморкались, а у «известного всему миру трагика из Друрилейнского театра» раздуло щеку.

Прорепетировав на скорую руку и как попало трагедию,

мелодраму и фарс, которые должны были идти вечером (все роли были высланы мне по почте), я пошел искать себе квартиру, решив, что один я не так соскучусь, как в обществе этой милой компании.

Признаться, искать квартиру, да еще в провинциальном городе, не особенно приятное занятие. Всегда приходится час или два блуждать по каким-то глухим улицам, заглядывать в окна, стучаться в двери и ждать добрых четверть часа, пока кому-нибудь заблагорассудится открыть вам двери. Вам кажется, что изо всех окон следят за вами и принимают за благородного просителя, которые обыкновенно ходят со свидетельствами о несостоятельности, или же за артельщика водопроводного общества, и потому презирают и ненавидят вас от души. Странное дело, почему это вы никогда не можете найти подходящей для вас комнаты раньше, чем не обойдете весь город и не устанете, как собака. Жалко, что нельзя всякое дело начинать с конца и делать его назад, тогда бы и поиски комнаты сразу увенчались успехом. Но так как поступать так невозможно, то волей-неволей приходится проходить одну и ту же рутину.

Одни из квартирных хозяек спрашивают с вас двойную или тройную плату, тогда вы обещаете зайти еще раз посмотреть со своим приятелем и уходите. В другом месте вам заявляют, что комната уже занята или совсем не сдается. В третьем доме находятся такие умные женщины, которые предлагают вам спать на одной постели с другим жильцом, причем этот жилец оказывается маркером из соседнего трактира или любителем-фотографом. Есть и такие хозяйки, которые не пускают к себе холостых жильцов, или актеров, или людей, которые сидят весь день дома, так что нельзя проветривать комнаты, или приходят домой очень поздно.

Иногда вас встречает неряшливо одетая, встрепанная женщина с целой кучей уцепившихся сзади за юбку ребятишек, которые испуганно смотрят на вас, по всей вероятности, принимая за лешего или домового, который пришел, чтобы взять их с собой; а то к вам выходит какой-то заспанный дурак, который скребет свой затылок всей пятерней и предлагает вам прийти в следующий раз, когда будет дома «сама хозяйка», потому что он без нее ничего не знает. Но хуже всего, когда женщина, с которой вы не сошлись в условиях, выходит на крыльцо и следит за вами, так что вы не решаетесь постучать в соседний дом.

Отправляясь на поиски, я был приготовлен ко всем этим неприятностям, но ничего подобного со мной на этот раз не случилось, и притом по той простой причине, что в целом городе

не было ни одной меблированной комнаты, которую бы сдавали внаем. Очевидно, жителям этого странного города никогда не приходила в голову мысль, что может найтись такой чудак, который захотел бы посетить их благословенный городок и поселиться у них. На главной улице были две гостиницы, но провинциальные актеры не могут позволять себе такую большую роскошь и останавливаться в гостинице; им по карману «меблированные комнаты» или «комнаты для одинокого». Обойдя все улицы и не встретив ни одного билетика, наклеенного на окнах, я зашел в булочную, чтобы узнать, не знают ли они какой-нибудь меблированной комнаты. Не знаю почему, но у меня сложилось такое представление, что в булочных должны все знать, что делается у них в околотке. На этот раз я ошибся в расчетах; я заходил в две булочные и в обеих только пожимали плечами и отвечали, что не знают, где сдаются меблированные комнаты. Я совсем было уже отчаялся, как вдруг мой устремленный на окна взор встретился с улыбающимся красивым личиком в дверях шляпного магазина. Один взор этой красавицы сразу вселил в мою душу надежду. Я, конечно, тоже в свою очередь улыбнулся и…

— Не может ли мне обладательница прекрасных глаз указать, где здесь сдаются меблированные комнаты?

Обладательница прекрасных глаз скорчила удивленное личико.

— А разве Monsieur приезжий?

Monsieur объяснил ей, что он приезжий актер. Madame взглянула еще благосклоннее, и улыбка ее сделалась еще приветливее.

— Madame так любит театр. Здесь так давно не было ни одного театра. Ох! Она не была в театре с тех пор, как покинула Риджент-стрит — Риджент-стрит в милом Лондоне. А Monsieur знает Лондон? Какое там множество театров. А в Париже. Ах, Париж! Ах, какие театры в Париже! Но сюда не приезжает ни один театр. Здесь так скучно, так тихо! Ах, какой это глупый город! Все мы, англичане, такой скучный народ. Ее муж не разделяет с ней этого мнения; он такой скучный — все спит да спит и не любит веселья. Зато она, мадам, страшно любит веселиться. Ах, как здесь скучно.

С этими словами Madame всплеснула своими красивыми беленькими ручками и так печально взглянула на Monsieur, что Monsieur почувствовал прилив жалости и страшное желание обнять за талию и привлечь к себе несчастную женщину. Но, к счастью, вовремя удержался и не привел в исполнение этого благородного, но рискованного стремления.

Madame сказала, что непременно пойдет в театр сегодня же вечером, и пожелала узнать, что идет.

Monsieur сообщил ей, что «такой-то известный всему миру трагик из Друрилейнского театра будет играть роль Ричарда III и Свидетеля-идиота». Она была приятно поражена и высказала предположение, что, должно быть, это комедия. Madame любит комедию. «Смеяться над тем, что смешно, и веселиться — не правда ли, как это приятно?»

Затем Madame вспомнила, что Monsieur спрашивал ее про меблированные комнаты. При этом Madame состроила серьезное личико и приложила пальчик к губам, делая вид, что усиленно думает. «Да, здесь в городе живет мисс Кемп, она иногда пускает к себе жильцов. Но мисс Кемп очень строгая, она пускает только хороших людей. А Monsieur хороший?» Все это сопровождалось самой лукавой улыбкой. На это Monsieur заявляет, что достаточно пять минут поглядеть в эти прекрасные глаза, чтобы сразу сделаться святым. Мнение Monsieur вызывает добродушный смех и недоверие, тем не менее ему сообщают адрес мисс Кемп, и он отправляется туда, снабженный рекомендацией своей случайно приобретенной приятельницы-француженки.

Мисс Кемп была старая дева. Она жила за церковью, в треугольном домике, который стоял посредине большого, поросшего зеленой травой двора. На вид она была очень пожилая женщина с живыми глазами и острым подбородком. Она осмотрела меня с ног до головы и выразила предположение, что я приехал в город искать работу.

— Нет, — ответил я, — я приехал сюда играть. Я актер.

— А! — протянула мисс Кемп. Затем строго спросила: — Вы женаты?

Я отверг такое предположение с презрением.

После этого хозяйка любезно пригласила меня войти в комнату, и мы скоро сделались друзьями. Я умею ладить со старухами. После молодых девушек я больше всего люблю старух.

К тому же мисс Кемп была очень симпатичная женщина. Несмотря на то что она была старая дева, она относилась ко мне с такой материнской заботливостью, точно наседка к своим цыплятам. Я хотел было сейчас же отправиться на вокзал за корзиной и купить в лавке котлету, но такое мое намерение как будто испугало ее.

— Что вы, что вы, мое дитя, бог с вами, — сказала она, — идите снимайте свои мокрые сапоги, я пошлю за вещами.

Я с радостью исполнил желание хозяйки, снял пальто и сапоги и удобно уселся в кресле у камина, обернув ноги теплым пледом, между тем как мисс Кемп засуетилась с ложками и

тарелками, накрывая на стол и приготовляя чай.

К сожалению, мне только одну неделю пришлось пожить у мисс Кемп, потому что наша труппа переехала в другой город, но я долго еще не забуду эту милую маленькую старушку с суетливым характером и прекрасным, добрым сердцем. Я вижу, как сейчас, чистую комнату с простым камином, перед которым лежит, растянувшись на полу, и греется старый ленивый кот. Старомодная лампа бросает из-под абажура мягкий свет на стол, за которым, повернувшись лицом к камину, сидит в высоком кресле маленькая старушка с неизменным вязаньем и раскрытой Библией на коленях. Быть может, эту картину можно видеть, и дай Бог, чтобы она не изменилась еще многие годы.

Одно из двух: или мне всегда везло на хороших хозяек, или же к этим несчастным женщинам относятся несправедливо и понапрасну нападают на них. Мне много пришлось иметь с ними дела, и, в общем, я пришел к убежденно, что они очень добрые, обязательные и совсем не алчные до денег. В особенности это можно сказать про провинциальных хозяек; что же касается лондонских, то они действительно не так симпатичны, как их провинциальные сестры, но все же непохожи на тех фурий и ведьм, какими их обыкновенно представляют. Конечно, они имеют свои недостатки.

Например, здорово ругаются со своими горничными (но ведь и горничные такой народ, с которым нельзя не браниться), постоянно предлагают изжарить котлеты и говорят так много, что смело могли бы поспорить с любым членом ирландского парламента. Они пристают к вам со всеми своими заботами и не дают вам завтракать, пока вы их не выслушаете до конца. Они никогда не устают рассказывать вам историю про своего неблагодарного родственника, причем вытаскивают из комода целую пачку писем и заставляют все их перечитать. Затем они до смерти надоедают вам рассказами про одного благородного молодого человека, бывшего когда-то их жильцом. Этот молодой человек был, очевидно, до глубины души растроган добротой и заботливостью своей хозяйки и много-много раз повторял ей со слезами на глазах: «Ах, миссис такая-то, вы для меня дороже родной матери»; затем он с чувством жал ей руку и заявлял, что никогда не будет в состоянии отплатить ей за ее доброту. Этот молодой человек, кажется, не любил врать; он действительно обыкновенно уезжал и оставался должен хозяйке изрядную сумму денег.

Глава XIV
Странствующая труппа

На этот раз мне не повезло. Труппа, в которую я поступил, оказалась никуда не годной. Вот что я писал Джиму насчет нее:

«Дорогой Джим!

К сожалению, должен сознаться, что сойду с ума, если останусь здесь дольше. У нас нет ни режиссера, ни сценария. Но это еще ничего; мы сами должны расклеивать по городу афиши и устанавливать на сцене декорации, так как антрепренер не хочет нанять плотников. Мы же должны собирать в кассе деньги; положим, последнее занятие было бы очень приятное, если бы только было что собирать. Ни молодых премьеров, ни первых любовников, ни премьерш у нас нет; всем актерам раздаются роли поровну, точно так же, как и гонорар. Мы получаем по одной гинее, конечно, в теории, а на самом деле наш гонорар пропорционален вымогательным способностям и нахальству каждого актера, однако сумму, которую может получить актер, равняется пятнадцати шиллингам. Собственно говоря, судя по тому, как посещает публика наш театр, и этого гонорара слишком много.

Невозможно описать, какой удручающий вид имеет наш театр во время спектаклей. Во-первых, в театре так темно (газовые рожки из экономии открывают меньше чем наполовину), что в нескольких шагах ничего не видно, и, во-вторых, так пусто, что, когда на сцене говорят два человека, такое раздается эхо и такой диссонанс, как будто двенадцать человек кричат во всю глотку. Ты гуляешь по сцене и видишь в партере человек двадцать, на галерке, облокотившись на перила, полулежат два-три человека, да два-три семейства сидят в ложах. При такой обстановке играть на сцене нет никакой возможности. Наскоро отмахаешь свою роль, потому что чувствуешь, что сама публика ждет не дождется, когда, наконец, кончится представление, и, очевидно, страшно сожалеет, что черт попутал ее прийти в такое место. В каждом городе мы останавливаемся на одну неделю и играем все одни и те же пьесы. Конечно, ни занятий, ни репетиций нет, но, по-моему, лучше были бы репетиции, чем эта ужасающая скука и однообразие.

Положим, виноват я сам, потому что по присланным ролям можно было догадаться, что это за труппа. Представь себе, в «Макбете» я играю роли Дункана, Банко, Сейтона и убийцу; в

«Ромео и Джульетте» — Тибальда и аптекаря; в «Гамлете» — Лаэрта, Озрика и второго актера и т. д. Никто из нас не играет в одной и той же пьесе меньше двух-трех ролей. Как только кого-нибудь из нас убьют на сцене или каким-нибудь другим насильственным путем удалят со сцены, мы сейчас же появляемся опять, но уже в другой роли. Иногда не остается и одной свободной минуты, чтобы переменить костюм, поэтому мы нацепляем одну только бороду и выходим таким образом. Это напоминает мне анекдот про негра, который надел шапку своего хозяина и был в полной уверенности, что таким образом может «выдать себя за белого». По моему мнению, мы очень утруждаем публику, если только таковая бывает в нашем театре; она должна много работать мозгами, чтобы понять смысл играемых нами пьес; хорошо, что большинство из зрителей не знакомы с произведениями нашего национального писателя, а то они прямо сошли бы с ума, разбираясь в этой путанице.

Мы так изменяем оригиналы, что даже сам маститый писатель, послушав свои произведения в нашем исполнении, отрекся бы от них и не признал своими. Да и неудивительно, если одна треть принадлежит талантливому перу Шекспира, а две трети — фантазии известного всему миру трагика из Друрилейнского театра.

Конечно, за проезд, как обещали, мне не заплатили; я и перестал напоминать им об этом…»

К великому моему удовольствию, мне удалось через несколько недель покинуть эту милую труппу. Мы проезжали через большой город, в котором обыкновенно останавливалась одна труппа актеров. Узнав, что как раз в это время там нужен актер для всех ролей, я прямо отправился к антрепренеру, предложил свои услуги и был принят. В общем, существует такое правило, что актер не может сразу, не предупредив антрепренера за две недели, перейти в другой театр, но в данном случае никто не обращал на меня никакого внимания. Так я подарил известному всему миру трагику из Друрилейнского театра все недоплаченное мне жалованье и ушел к другому антрепренеру. Такая щедрость с моей стороны заставила нас обоих только рассмеяться и крепче пожать друг другу руки при расставании. Мой прежний антрепренер нисколько не был огорчен тем, что я покидаю его, наоборот, даже обрадован, ибо, таким образом, у него оставалось лишних пять шиллингов в неделю. На мое место был взят один музыкант из оркестра, вследствие чего состав последнего уменьшился до двух человек.

Труппа, в которую я поступил, была одной из немногих

оставшихся в провинции странствующих трупп, которые не путешествуют по всей стране, а ограничиваются какими-нибудь шестью избранными городами, где и гастролируют из года в год. Обе эти системы имеют свои достоинства и недостатки не только с ученой точки зрения, но и с точки зрения личных интересов и удобств каждого актера. Мне лично больше нравится первая система на том основании, что я предпочитаю разнообразие и суматоху, которой сопровождается каждое путешествие. В самом деле, несмотря на все невзгоды и заботы, эта постоянная новизна впечатлений и перемена окружающих вас панорам и обстоятельств составляет для меня главную притягательную силу и прелесть тревожной жизни артиста. Перемена разнообразия как в серьезных вещах, так и в пустяках всегда нравится молодежи. Мы еще не так разочарованы прошедшим, чтобы скептически относиться ко всем милостям, которые, быть может, готовит каждому из нас будущность.

В каждой перемене молодой человек склонен видеть новый удобный случай добиться успеха. В каждой новой поездке его разыгравшаяся фантазия рисует картину блестящего успеха, и при каждом повороте улицы он надеется достигнуть цели своих стремлений и желаний.

В какой бы новый город я ни приехал, в какую бы новую труппу ни поступил, мне всегда представлялся новый удобный случай проявить свои способности и таланты. Жизнь так устроена, что одно общество или публика бранит и попирает ногами какой-нибудь гений, а другая тот же гений признает и превозносит до небес. Подобное приятное ожидание и вера в хорошее будущее сопровождает не только дела серьезной важности, но даже самые пустячные.

Быть может, в других труппах меня ожидают еще лучшие товарищи и приятели, быть может, актрисы там еще красивее и благосклоннее относятся к нашему брату, может быть, и деньги там платят аккуратнее. Одна только возможность путешествовать, видеть различные города и местности, играть в различных домах и меблированных комнатах, возможность заглядывать проездом в Лондон и узнать, что делается дома, окружает в моих глазах сцену таким фантастическим ореолом, который заставляет позабыть и пренебречь всеми сопряженными с нею неприятностями и невзгодами.

Для меня нисколько не привлекательна жизнь в течение шести месяцев подряд в каком-нибудь скучном провинциальном городе, постоянная игра в карты и от нечего делать постоянное времяпрепровождение в трактирах. Конечно, это очень удобно для солидных и женатых актеров. Они, по крайней мере

некоторые из них, родились в этой труппе, поженились и умрут в этой труппе. Они отлично знакомы со всеми шестью городами, в которых ежегодно гастролирует их труппа.

Они интересуются городом, и город интересуется ими и приходит на их бенефисы. Они опять и опять возвращаются и приезжают все в те же места и те же дома. Они не рискуют забыть дом, в котором поселились, как это бывает со странствующими актерами в первый день по приезде в новый город. Им неизвестно бездомное бродяжничание с места на место; все это были граждане и горожане, живущие среди своих приятелей и родственников. Им нечего заботиться о меблированных комнатах, у каждого из них есть свой «дом» или то, что провинциальный актер может назвать своим «домом». Они, без сомнения, любят «тишину и спокойствие», как выразилась молодая француженка про своего мужа; но я, полный сил и энергии молодой человек, нахожу это крайне скучным и монотонным.

Скучно провел я пять месяцев, живя у этого антрепренера, и за это время написал своему приятелю, долготерпеливому Джиму, изрядное количество писем. Вот все отрывки из них, касающиеся театра и моей артистической деятельности:

«…Работаю теперь не так много, во всяком случае не столько, сколько было вначале. Каждый день ставили новую пьесу. Я забрал пьесы всего репертуара, назначенного на неделю, и вызубрил свои роли. Особенно тяжело приходится в бенефисы, когда дают современные пьесы. У меня порядочное платье, и потому все роли «галантных молодых людей» режиссер взваливает на меня. Но больше всего меня бесит нежелание актеров учить свои роли; все они передают роль своими словами и только сбивают меня. На второй день после моего поступления в эту труппу мне дали длиннейшую роль, которую я должен был играть на следующий день. Я просидел всю ночь и вызубрил ее отлично. Прихожу утром на репетицию и встречаю нашего комика, с которым у меня по пьесе самая длинная сцена.

— Ну, как вы справились со своею ролью? — спрашивает он меня.

— Ничего, — отвечаю, — реплики знаю хорошо.

— О, забудьте свои реплики; от меня, по крайней мере, вы не услышите ни одной правильной реплики. Советую вам следить за смыслом, а не за репликами.

Я следил за смыслом, но, хоть убей меня, не мог найти ни малейшего смысла в его словах. Не было никакого сомнения, что он говорил своими словами. До сих пор не понимаю, как я мог с ним играть. Правда, он помогал мне все время и делал указания,

когда я окончательно становился в тупик и не знал, что говорить дальше; например, он шептал мне: «Пропустите, что сказал отец», или «Говорите, что сказала Сада», — но все-таки это мало облегчало игру.

— Пожалуйста, купи на толкучке подержанную пару трико, вели хорошенько вымыть и пришли мне ее. Мне надо надеть ее под низ. В следующий понедельник мне придется играть в черном трико, а я хочу, чтобы у меня были потолще ноги; ты знаешь, что я не особенно толст.

Я приобрел незаменимую пару сапог (всего за них заплачено пятнадцать шиллингов). Вытянутые во всю длину, они доходят до пояса и представляют пару настоящих американских ботфорт; их можно покрывать до половины мехом, пришивать золотые шнуры и кисточки, собирать в гармошку, отворачивать верхи и придавать им какой угодно вид и форму, начиная от простых охотничьих сапог и кончая сапогами Чарльза или Кромвеля. Но с ними надо быть крайне осторожным и все время следить за ними, потому что на сцене они очень часто по собственному желанию меняют форму; таким образом, очень часто один сапог изображает ногу разбойника на большой дороге, а другой — ногу благородного рыцаря. Вообще, на костюмы у нас нельзя пожаловаться; наш театр имеет очень порядочный гардероб.

Было бы желательно, чтобы программы и афиши составлялись более умными людьми, а не такими дураками, как, например, наш режиссер. Он никогда не может правильно составить афишу: то совсем пропустит твою роль, то твое имя поставит против чужой роли, то впишет такую роль, какой совсем не существует в пьесе, а если, по какой-то счастливой случайности, все это составит верно, то переврет и неправильно напишет имена актеров.

На днях со мной случился маленький казус; я опоздал на репетицию, за что режиссер оштрафовал меня на полкроны. Во всем виноват наш суфлер; он отлично знал, где я сидел, и нарочно не дал мне знать. Отомщу же я ему за это».

Глава XV
Месть

Выписки из дальнейших писем:

«…Прости, что постоянно беспокою тебя различными поручениями; дело в том, что мне нужен еще один парик. Я думал, что мои собственные волосы годятся для совершенно молодых ролей, но оказывается, что они недостаточно светлы и белокуры. «Будь добродетелен, и волосы твои станут словно пакля» — вот главный пункт театральной религии. Хотел бы я так же экономно обращаться с париками, как наш актер, играющий первых стариков. У него для всех ролей служит один и тот же парик. Когда он играет серьезные роли, надевает его как следует, а в комических ролях — задом наперед.

Не могу не рассказать тебе, какой инцидент случился на днях с нашим режиссером. Ему за пятьдесят лет, но он в полной уверенности, что играет не хуже Чарльза Патье, и потому выбирает молодые роли. В один из субботних спектаклей он взял себе роль первого любовника в старой английской комедии и появился на сцене с роскошными кудрями и в треуголке.

— Кто этот красивый юноша с роскошными светлыми волосами? — спрашивает героиня свою компаньонку.

— О, это сэр Гарри Манфорт, прекрасный молодой человек, спасший жизнь принцу. Он самый молодой офицер во всей армии и в то же время самый храбрый.

— Храбрый юноша, — шепчет героиня, — я хочу сказать ему несколько слов. Позови его ко мне, Леонора.

Леонора исполнила приказание, и он подошел к героине. Во время разговора он покорно, с юношескою застенчивостью стоял перед ней, низко склонив голову.

— Мадам, — сказал он, снимая треуголку, — какого им черта нужно? Чего они хохочут? О, мой…

Дело в том, что вместе с треуголкой снялся парик, и «храбрый юноша» оказался с голой, как колено, головой.

Я хотел было на прошлой неделе приехать в Лондон, потому что три дня подряд не участвовал в спектаклях. Но потом рассчитал, что на одну только поездку придется истратить весь недельный гонорар, и потому поехал в Р. и сходил там в театр. Там я встретил В., он женился на маленькой Полли, которая выступала на вторых ролях в театре. Теперь она в Абердине, и он не видал ее уже три месяца. Вот несчастье, когда муж и жена, не

прожив вместе даже один год, должны разлучиться. Старые люди отлично переносят такие разлуки, но бедный В. чувствует себя прескверно. Сначала они жили вместе и играли в одном театре, но потом обстоятельства так сложились, что каждый из них должен был взять первое попавшееся место…

Помнишь, я писал тебе, что меня оштрафовали из-за суфлера. Я сказал, что отомщу ему, и отомстил. Вернее сказать, мы, то есть я и еще один актер, который давно уже точил на него зуб, отомстили ему. Суфлера никто не любит за то, что он интриган и вообще скверный человек. Он встречался с мисс Пинкин, у отца которой железная лавка, как раз против театра. Отец ничего не знал об амурах своей дочки, и они измышляли различные способы, чтобы поговорить друг с другом. Окно нашей гардеробной комнаты приходится против окна на лестнице этого дома, где живет пассия суфлера; они пользовались таким удачным расположением окон и переговаривались друг с другом издали. Но это, конечно, их не удовлетворяло, и вот что придумал наш Дон Жуан. Узнав, что отца нет дома, он перекидывал доску с одного подоконника на другой и по ней, как обезьяна, перелезал к своей возлюбленной. Как-то мы нашли обрывок письма мисс Пинкин, подделали ее руку и написали от ее имени письмо к суфлеру, в котором она якобы просит его сейчас перелезть к ней по доске и ждать на лестнице, пока она не выйдет; тут же мы сообщаем, что отца нет дома. Затем это письмо мы вручили мальчишке перед самой репетицией, дали ему два пенса и велели сейчас же отнести суфлеру с строгим наказом не говорить, кто его послал.

Суфлер недолго заставил себя ждать и сейчас же совершил воздушное путешествие на лестницу к своей возлюбленной, после чего мы сняли доску и закрыли окно в уборную. Между тем все собрались на репетицию и удивлялись, куда мог пропасть такой аккуратный человек, как суфлер. «Где его черти носят? — ругался режиссер, сердито шагая по сцене. — Долго ли он будет заставлять нас ждать себя?» Наконец, послали к нему домой и во все кабаки и трактиры мальчика; главное, он унес с собою пьесу, и потому нельзя было без него начинать репетицию. «О, это из рук вон, это черт знает что за безобразие! — кричал режиссер полчаса спустя. — Я оштрафую его на пять шиллингов. Я не мальчишка, чтобы со мною устраивали подобные штуки!» Наконец, спустя целый час, явился суфлер мрачнее тучи. Как к нему ни приставали, он не хотел сказать, что с ним случилось, только все время бормотал, что свернет шею тому, кто сыграл с ним подобную штуку.

Из рассказов мальчика из железной лавки оказалось, что

суфлер ждал на лестнице три четверти часа, не смея двинуться с места, пока не пришел отец возлюбленной и не спросил, что он там делает. Конечно, произошел обычный в таких случаях скандал, молодая девушка прогнала его вон и запретила показываться ей на глаза, а четыре ее родственника обещали переломать ему все кости. Мальчик, рассказавший эту историю, прибавил, что он по опыту знает, что эти люди непременно исполнят свое обещание. Мы, конечно, сочли своей обязанностью сообщить об этом суфлеру».

Дальше я ничего не пишу про театр, вплоть до следующего отрывка из письма, писанного мною спустя четыре месяца:

«Хотел написать тебе письмо на прошлой неделе, но был страшно занят. У нас большой переполох. К нам приезжает из Лондона знаменитость. Он собирается выступить здесь в восемнадцати пьесах, из которых восемь классических, пять драм, четыре комедии и один фарс; на подготовку и изучение ролей у нас остается неделя. Теперь у нас идут репетиции чуть ли не целый день: в десять часов утра репетиция, потом в три, в семь и даже после спектакля. Я забрал все свои роли и выучил их сразу одну за другой. Но теперь у меня все спуталось и в голове получилась страшная каша. На репетициях фарса я приводил цитаты из Шекспира, а когда репетировали какую-нибудь драму, я вырывал целые куски из всех остальных пяти драм. Тогда режиссер вздумал меня поправлять, но сам спутался до того, что забыл, какую мы репетируем пьесу. Премьерша и первый комик заявили, что мы репетируем одну из драм, а второй комик, субретка и капельмейстер были в полной уверенности, что репетируется комедия; между тем на остальных актеров нашло такое затмение, что они положительно отказались высказать на этот счет какое-либо мнение.

У меня же лично до того помутилось в голове, что я не знал, на чем стою, на ногах или на голове; а наш первый старик… впрочем, о нем я буду говорить дальше. В особенности тяжело пришлось мне, потому что с первым любовником во время игры случилось большое несчастье, и все его роли передали мне. Вот как происходило дело. В одной пьесе резонер должен был подкрасться к спящему первому любовнику с намерением его зарезать. После долгих разглагольствований убийца заносит руку с кинжалом, чтобы пронзить им первого любовника, но тот просыпается, бросается на убийцу и борется с ним. Должно быть, резонер был в это время пьян, потому что действительно выколол кинжалом глаз бедному Р., первому любовнику, и сделал его

несчастным на всю жизнь. Теперь он не может играть ролей, где надо брать внешностью, и должен перейти на роли комиков или резонеров. Но странное дело, больше всего он сердится на меня, как будто я виноват, что ему выкололи глаз и мне передали его роли. Я с удовольствием бы отказался от такой чести, потому что, кроме бессонных ночей и усиленной работы, она не приносит мне никакой пользы.

Да, я хотел рассказать тебе про нашего старика. Он всегда хвастал, что в течение десяти лет ни разу не учил ролей. По-моему, здесь нет ничего такого, чем бы можно было хвалиться; но он, очевидно, приписывал это своему большому уму, и потому даже презирал людей, которые учили свои роли. Можешь себе представить, как он хорошо себя чувствовал, когда ему вручили шестнадцать длиннейших ролей, из которых одиннадцать он никогда даже не читал раньше. Все эти роли ему предложили выучить к следующей пятнице. Он ничего не ответил. Вообще, это был сварливый старик, который любил поворчать и поругаться, но в данном случае он только взглянул на сверток и сразу сделался сумрачен и задумчив и не последовал примеру остальных актеров, громко выражавших негодование по поводу таких варварских порядков. Только со мной он поделился своим горем и, встретившись в дверях театра, сказал, указывая на тетрадки:

— Порядочный пакетик, не правда ли? Иду домой учить роли, — и с этими словами он грустно улыбнулся и медленно поплелся домой. Это было в субботу вечером, а в понедельник утром мы все собрались в театре на репетицию. Не было одного только старика. Прождав его до одиннадцати часов, режиссер рассердился и послал к нему на дом мальчишку узнать, что случилось. Через четверть часа мальчик вернулся и сказал, что старик ушел из дому в воскресенье и с тех пор не возвращался. Утром хозяйка видела, как он сидел и учил роли, а потом, вернувшись домой вечером, уже не застала его. Она нашла в его комнате только письмо, адресованное на ее имя, которое и прислала с мальчиком.

Режиссер нетерпеливо вырвал письмо из рук мальчика и стал читать его. Ужас изобразился на его лице, как только он прочел первые строки; когда же он окончил чтение, письмо выпало из его рук, и он тяжело опустился на ближайший стул, смущенный и взволнованный, как человек, который не может сразу опомниться и прийти в себя от ужасной новости.

Как только режиссер стал читать письмо, у меня мороз пробежал по всему телу и от страха похолодели руки и ноги. Мне живо представилось его странное выражение лица и грустная

улыбка, с которой он указал мне на тетрадки, и я сразу понял, что с ним случилось что-то очень скверное. Ведь он был старый человек; ему недоставало той силы и энергии молодых людей, которые помогают им преодолевать всякий труд и тяжелую работу. Его ум (такого мнения, по крайней мере, были все актеры) никогда не отличался особенной силой. Может быть, он пал под тяжестью непосильной работы.

Быть может, он лежит где-нибудь в лесу, под зеленой кущей дерев, с зияющей раной от уха и до уха, или спит последним крепким сном под прозрачным, но тяжелым покрывалом глубоких вод?

Быть может, это послание человека, который уже одной ногой в гробу? Все эти мысли с быстротою молнии пронеслись в моей голове и заставили поспешно поднять с полу письмо. Вот что я прочел:

> «Любезная миссис Гонсам! Я уезжаю в Лондон с поездом, который отходит в 3 ч. 30 м., и никогда больше сюда не вернусь. Я оставил у Джонса пару сапог, которым необходимо сделать новые носки; пожалуйста, возьмите их; кроме того, на прошлой неделе мне не вернули от прачки одну ночную рубашку с меткой Д. Если пришлют из театра справляться обо мне, то пошлите их всех к черту и передайте им мой совет — взять железных актеров, если они хотят заставлять учить по шестнадцать ролей в неделю. Ваш покорный слуга Д.».

У меня сразу отлегло от сердца, когда я прочел это письмо, но на режиссера оно, очевидно, произвело совершенно обратное действие. Оправившись от испуга, он начал высказывать свое мнение насчет старика, повторить которое я не решаюсь. Одно могу сказать, что это была сплошная ругань и самая площадная брань.

Наш первый любовник, глаз которого начал уже поправляться, все еще ничего не делал, пользуясь нездоровьем.

Он был в полной уверенности, что и на этот раз будет сидеть в первом ряду и под шумок смеяться над игрой «знаменитости», но тут как назло его заставили играть все роли сбежавшего старика.

Конечно, это пришлось ему не по вкусу, и он страшно ругается. Не дай бог теперь подойти к нему и осведомиться о его здоровье, он готов убить этого человека. На будущей неделе приезжает другой актер на роли первых стариков, но тогда уже будет слишком поздно — наша знаменитость уедет, и такой

тяжелой работы уже не будет».

Глава XVI
Взгляд на сценическое искусство

С тех пор как поступил в эту странствующую труппу, я написал Джиму два письма: одно после отъезда нашей знаменитости в другой город, а второе — две недели спустя.

«…Уехал в субботу. Пока он у нас гастролировал, театр все время был битком набит, да и неудивительно.

Ты не можешь себе представить, какое наслаждение для невежественных, заброшенных в глуши провинциалов видеть игру настоящего актера. Неудивительно, что провинциальная публика совершенно равнодушно относится к театрам, когда ей под видом сценического искусства преподносят одни только грубые шутки и плоские остроты. Меня всегда возмущает, когда ничего не смыслящие в этом отношении люди с апломбом заявляют, что провинция служит отличной образовательной и подготовительной школой для молодых актеров. По моему мнению, стоит только два месяца поиграть в провинциальной труппе, чтобы убить в себе даже существующие до тех пор способности к сценическому искусству. По большей части, вас так заваливают работой, даже совсем не относящейся к игре, что у вас едва хватает времени, чтобы, как попугай, заучить роль; но даже если у вас и есть достаточно времени, чтобы вдуматься в роль и изобразить из данной роли оригинальный, самостоятельный характер, то делать это, во всяком случае, бесполезно. Вам все равно не позволят проводить свои взгляды и идеи в исполнении роли. Если вы хотите *думать*, то должны искать какой-нибудь другой театр, только не провинциальный. Естественность и оригинальное исполнение ролей строго преследуются провинциальными антрепренерами и режиссерами. Все актеры, какую бы роль ни исполняли, должны играть по одним и тем же рутинным, избитым правилам и традициям. Чтобы стать на высоте провинциального драматического искусства, не надо стараться совершенствовать свои способности, а наоборот, убивать их. Весь юмор комедий заключается в красных носах и кувыркании на сцене. Изображая что-нибудь трогательное и печальное, надо так кричать, что через час приходится уходить со сцены с охрипшим голосом. Только тот актер может быть хорошим трагиком в провинции, кто обладает легкими какого-нибудь руководителя политической партии.

Но приехавший из Лондона знаменитый актер сразу

преобразил всех нас. Он как будто вдохновил каждого из нас и заразил своим талантом, потому что все мы играли при нем не в пример лучше, чем без него. Я в первый раз играл с настоящим актером, испытывал совершенно новое, незнакомое чувство и могу, не хвастаясь сказать, что играл несравненно лучше. Мне казалось, что я заразился от него энергией и страстностью, начал *чувствовать* свою роль и исполнял ее реально.

Вот самое важное, о чем в первую очередь должен заботиться и к чему должен стремиться каждый актер.

Многие люди говорят, что надо «быть тем характером, который изображаешь на сцене». Это заведомый абсурд, и ни один здравомыслящий человек не станет серьезно советовать подобные глупости. Представь себе целую труппу, забывшую, что она играет на сцене, и воображающую себя людьми, которых ей поручено олицетворять. Конечно, они станут говорить и делать только то, что им покажется естественным, и *когда* будет, по их мнению, естественно и натурально; а в результате получится, что они или заговорят все вместе зараз, или никто ничего не будет говорить. Подобный энтузиазм никогда не будет преклоняться перед ничтожными требованиями сценической иллюзии. Подобные актеры будут шагать через рампу и падать на головы оркестра, облокачиваться на горы, забывая, что они нарисованы на полотне. Действительно, это будет грандиозное представление, хотя, к счастью, очень непродолжительное. Во всяком случае, придется посылать за полицией, не дожидаясь конца первого акта, потому что, в противном случае, первый любовник перережет по крайней мере половину состава труппы, молодой премьер похитит премьершу со всеми ее драгоценностями и нарядами, а «благородный отец» умрет от разрыва сердца. Не знаю, что будет делать на следующий день антрепренер. Я думаю, он выйдет к публике перед началом спектакля и обратится к ней со следующей речью:

— Милостивые государи и милостивые государыни! Я должен извиниться перед вами за то, что сегодня моя труппа не может в полном составе участвовать в представлении. Вчерашнее исполнение актерами своих ролей было так реально, что сегодня в живых остались только комик и актер для всякого амплуа. Но в нашем распоряжении имеется много трупов, поэтому при помощи их, а также при благосклонном участии вышеупомянутых двух актеров мы сделаем со своей стороны все возможное.

Даже изучая и репетируя роль в своей комнате, никто не должен ни на один момент стараться отождествлять себя с олицетворяемым лицом. Даже самые великие актеры, создавая характер, никогда не забываются и не воображают себя кем-то

другим. Одни только сумасшедшие могут думать, что они не то, что есть на самом деле, а какие-то фантастические личности. Но ведь сумасшедший — больной человек со страшно развитым воображением и большой впечатлительностью, благодаря которым он может понимать и проникать во все человеческие мысли и чувства, поэтому, нарисовав в своем воображении характер человека, которого хочет олицетворять, он может проследить все нюансы ума этой воображаемой личности, при всех возможных обстоятельствах и положениях.

Но такая впечатлительность не годится для сцены. На театральной сцене должен господствовать ум, свободный от всех подобных безумных идей. Все, что нужно для хорошей игры, так это — точное повторение того, что выучено у себя дома, и затем полное хладнокровие и хорошая память с того момента, как поднят занавес. Конечно, актер должен чувствовать, что играет. Чувство есть душа сценического искусства, она увлекает зрителя; это тот огонь, который Афродита вдохнула в Пигмалиона. Но это чувство скорее дело памяти, чем всего остального…»

В другом письме я писал:

«…Прошлую пятницу меня много вызывали. Я играл ту же роль, в которой нашему первому любовнику подбили и испортили глаз, а он играл роль злодея, который хочет зарезать меня во сне (резонер ушел от нас после такого несчастья). Все шло очень гладко; я лежал на кушетке в глубине сцены, а он подкрадывался ко мне с ножом в руках. Я лежал как ни в чем не бывало и ждал только реплики, чтобы вскочить, как вдруг открыл глаза и увидел наклонившегося надо мною Р. Может быть, и вправду я совершил по отношению к нему какую-нибудь несправедливость?

«Он хочет отомстить мне за то, что я занял его место; он изуродует меня так же, как и его изуродовали», — с быстротой молнии пронеслось в моем воображении. В тот же момент я вскочил с кушетки и вырвал нож из его руки.

Мы стояли друг против друга, тяжело дыша и пожирая друг друга взорами; он покраснел как рак и дрожал от гнева как осиновый лист. Не знаю, сколько времени простояли бы мы в таком положении, если бы наше внимание не было отвлечено опускающимся занавесом. Все было сыграно по пьесе до тех пор, пока я не отнял у него нож. Затем я должен был схватить его за шиворот, сказать несколько заключительных слов и прижать к земле. Но наша сцена вышла гораздо эффектнее.

Нас вызывали несколько раз и поздравляли с успехом.

— Хотя вы и пропустили весь конец, — сказал режиссер, — но все-таки сыграли очень хорошо. Очевидно, ваши нервы были в страшно возбужденном состоянии. В общем, сцена прошла очень живо и естественно.

Ни я, ни Р. не решились сказать режиссеру, что это была не игра…

Я ушел отсюда и поступил в маленькую странствующую труппу на роль молодого премьера. Следуя совету Горация[2], я смотрел на это место, как на удобный случай проявить свои способности и таланты, и потому ухватился за него с руками и ногами. С этою целью я уложил в воскресенье утром все вещи, обошел всех знакомых в городе, чтобы пожать им на прощание руки (ведь мало есть на свете людей, с которыми бы вы не желали попрощаться без некоторой доли сожаления), и при бледных лучах заходящего летнего солнца и звоне церковных колоколов сел в поезд; паровоз засвистел, запыхтел и, тяжело громыхая колесами, тронулся со станции. Я стоял в окне и смотрел, как бледнеет и исчезает из моих взоров, а также и из моей жизни этот город, в котором я прожил некоторое время, и его обитатели.

Воскресенье — великий день для путешествий актеров. Они, по крайней мере, не теряют даром времени. В субботу вечером какая-нибудь труппа актеров кончает представление в одном городе, а в понедельник утром просыпается уже в другом и вечером дает первое представление. Каждый актер может, не пропуская ни одного представления, бросить один театр и поступить в другой, где-нибудь на противоположном краю государства. Я знаю человека, который в субботу играл в Хорнваллисе, а в следующий понедельник в Инвернесе. В этом отношении воскресенье очень удобный день для путешествий занятых людей, зато во всех других отношениях никуда не годится, так что поездка в этот день является своего рода наказанием.

В особенности же хорошо путешествовать в воскресенье людям, имеющим такую вещь, как совесть; надо откровенно признаться, что в ранние дни моей юности я, к несчастью, принадлежал к числу таких людей. В общем, неприятная штука эта совесть, вечно сварливая, находящая во всем недостатки и вмешивающаяся не в свои дела. У нее нет никаких общественных инстинктов. Во время этих несносных воскресных путешествий она ни минуты не дает мне покоя и все пилит и пилит меня без конца. Если в одном со мной вагоне сидит против меня какой-нибудь пожилой господин, мне кажется, что он с укоризной глядит на меня и в душе ругает за то, что я выбрал для своего путешествия праздничный день. Мне моментально становится

стыдно самого себя, и я чувствую себя несчастным на всю неделю. Но мне никогда не приходит в голову такая простая мысль, что этот господин не имеет ни малейшего права укорять меня, так как сам совершает то же преступление, что и я. Затем я начинаю сам себе выдумывать всякие пытки и задаю себе тупые вопросы: что бы сказала моя тетка, если бы увидела меня теперь сидящим в вагоне? Конечно, я отлично сознаю, что никаких существенных последствий от того, что скажет старая женщина, быть не может, однако чувствую некоторое неудовлетворение и даже сильное угрызение совести. Мне так и кажется, что все смотрят и указывают на меня с презрением пальцем. Внутренний голос шепчет мне на каждой станции: «Если бы не такие презренные люди, как ты, то все эти носильщики и сторожа преспокойно дремали бы теперь в церкви», а стоит только засвистеть локомотиву, как тот же мучитель добавляет: «Вот видишь, из-за тебя и из-за таких скотов, как ты, этот бедный, переутомленный машинист должен работать, вместо того чтобы греться на солнышке у себя в деревне, одетый в лучшее, праздничное платье».

Мои товарищи обыкновенно в таких случаях уверяли всех, что едут навестить своих больных родственников; я охотно последовал бы их примеру, если бы не эта несносная корзина. Даже богатая фантазия газетного репортера не могла бы объяснить, зачем брать с собою такую громадную корзину величиною с добрый комод. Я мог бы сказать, что везу больному из Лондона деликатесы, но, конечно, никто не поверит этому и только даром пропадет такой хороший предлог для лжи.

Но не одни только совестливые люди такого мнения о путешествиях по воскресным дням. Да и вы, мой дорогой читатель, найдете их неприятными. Куда девается обычная суета, которой сопровождается каждое путешествие по железным дорогам? Где платформы, переполненные снующим народом, где огромные груды багажа? Куда девались газетчики? Буфеты принимают совершенно другой, печальный вид, и даже буфетчицы становятся еще неприступнее и строже. Наконец, вы достигаете цели своего путешествия и находите, что город как будто вымер. Вы спешите скорее по безлюдным, опустевшим улицам в гостиницу, но там никого не находите; вы отправляетесь в залу и сидите там в ожидании, когда, наконец, появится какое-нибудь живое существо. Приходит коридорный, и вы чувствуете сильное желание броситься ему на шею и рассказать все свои заботы. Вы стараетесь занять его разговором, чтобы он не ушел и не оставил вас одних, но ничего не помогает: на все расспросы он дает вам самые лаконичные, короткие ответы и быстро исчезает

из комнаты. Тогда вы отправляетесь гулять по городу. На улицах темно и безлюдно, и вы возвращаетесь домой в гостиницу в еще более печальном настроении, чем вышли оттуда. Вы приказываете подать ужин, но не дотрагиваетесь до него и от нечего делать ложитесь рано спать. Заснуть вы сразу не можете, переворачиваетесь с боку на бок и думаете, какой вам завтра подадут счет; потом засыпаете и видите во сне, что хозяин гостиницы подал вам ужасный счет в 128 фунтов 9 шиллингов и 4 $^1/_2$ пенса, за что вы убиваете его на месте и, ничего не заплатив, убегаете из гостиницы в одной ночной сорочке».

Глава XVII
Балаганный театр

Новый театр, который я удостоил своим присутствием, очень походил на балаган. Знай я это раньше, конечно, никогда бы в жизни не принял такого ангажемента. Этот театр только на один градус выше и лучше обыкновенного балагана, о котором я мечтал с самого детства, и теперь сожалею, что не могу подвизаться на его подмостках. Я давно порывался узнать поближе этот самый фантастический и романтический уголок театрального мира, но всегда мне мешали не зависящие от меня обстоятельства. Балаганная жизнь — все равно что цыганская жизнь в Богемии. С общественной и артистической точки зрения, балаган, конечно, находится в самом низу драматической лестницы, но в смысле интереса и приключений он стоит на самом верху ее.

Как бы то ни было, я никогда не гастролировал в балагане и потому нечего о нем много распространяться. Однако театр, в который я поступил и который во всех отношениях был больше похож на балаган, чем на настоящий театр, мне совсем не понравился. Мы останавливались в самых маленьких городках и давали представления в залах или больших комнатах, нанятых для этой цели на несколько дней. Специальных зданий для театра нигде не было, и потому, приезжая в какой-нибудь город, мы мечтали заполучить думскую залу, но так как мечты оставались одними мечтами и думской залы нам не давали, то удовлетворялись большими комнатами или даже деревянными сараями. Все декорации сцены и бутафорские принадлежности мы возили с собою, во всем же остальном полагались на умение местных плотников. Освещение состояло из одного ряда свечей, приклеенных вдоль рампы, а взятый напрокат рояль заменял оркестр. В одном городе мы не могли достать рояля и потому воспользовались любезным предложением хозяина залы и взяли гармонию.

До сих пор я почти не знаком с членами этой труппы, потому что все это такие люди, с которыми никому не желаю иметь какие-либо сношения. Следующие два короткие отрывка из писем достаточно характеризуют эту труппу:

«Дорогой Джим! Я погнался за материей и схватил призрак (я не столько горжусь оригинальностью этого сравнения, сколько меткостью, с которой она характеризует мое настоящее

положение). При первой же возможности я брошу эту труппу и приду попытать счастья в Лондон. Мое сильное желание играть роли молодых премьеров тотчас же исчезло с того момента, как я увидел нашу премьершу, как всегда бывает, жену нашего антрепренера. Ты себе представить не можешь, какая это жирная и противная женщина; всегда с грязными руками и ногтями, невыносимо потеющая в течение всего спектакля. Она в три раза толще меня, и если бы публика, перед которой мы играем, обладала хоть малейшей тенью юмора, то наша любовная сцена сделалась бы мишенью всевозможнейших острот и шуток. Вот бы потешилась над нами наша лондонская галерка. Мои руки, когда я обнимаю эту толстуху, достигают только до половины ее спины, а когда мы обнимаемся, то меня совершенно не видно публике, так как она заслоняет меня своей тушей. В одной сцене она падает в обморок и мне надо уносить ее за кулисы. Слава богу, что эту пьесу не часто ставят.

Но как тебе это нравится? Она заявляет, что я играю недостаточно страстно и что, при таких условиях, у меня никогда не будет хорошо выходить роль *любовников*...»

«….В понедельник я приезжаю в Лондон. Оставаться здесь дольше немыслимо. Положительно не знаю, что и делать; на прошлой неделе я получил всего только шесть с половиной шиллингов, а на позапрошлой одиннадцать; между тем театр дает всегда полный сбор.

Наш антрепренер очень ловкий человек; благодаря своим оригинальным и кричащим афишам он заманивает публику в свой театр и ловко дурачит ее те несколько дней, которые мы остаемся в каждом городе.

Для примера привожу тебе целиком одну такую афишу:

Разрушенная мельница на берегу Мертвого озера.

Грэс Мервин думает, что встретил друга, но находит врага.

Гарри Баддан вспоминает былые дни.

— Отчего ты меня не любишь?

— Оттого, что ты злой человек.

— Так умри же!

Борьба на краю пропасти!!

— Помогите!

— Никто тебе не поможет.

— Ты лжешь, Гарри Баддан, я здесь.

Рука из могилы!! Гарри Баддан находит свою смерть!!!

Вот каковы бывают провинциальные афиши.

Но какие бы деньги ни зарабатывал антрепренер, мы их все равно не видим и не получаем. Он останавливается в лучших гостиницах, а мы должны закладывать последний сюртук, чтобы заплатить за паршивенькую меблированную комнату.

Но не только с актерами так низко поступают антрепренеры, еще лучше они обманывают авторов театральных пьес. В нашем репертуаре есть две пьесы, обе имеющие большой успех у публики, но за которые автору до сих пор не заплачено ни одного пенса. Во избежание недоразумений с этими авторами, наш антрепренер переменил в этих пьесах заглавия и места действующих лиц. Таким образом, ни сам автор, ни друзья его (если только у писателя могут быть друзья) никогда не узнают этой пьесы, а если и узнают, то все равно сделать ничего не могут.

Какая несносная вещь — это огнестрельное оружие на сцене! Вчера вечером я чуть было не ослеп из-за него, до сих пор сильно болят глаза. По-моему, актеры всегда должны стрелять в воздух. Это единственное спасение, если сцена маленькая; правда, выходит довольно смешно, что человек падает и умирает оттого, что другой выстрелил в луну, но что же делать, если с этими пистолетами всегда выходят какие-нибудь истории. То они совсем не выстрелят, то стреляют туда, куда не следует. Вообще, на них никогда нельзя положиться. Вы приставляете пистолет к самому лбу кого-нибудь из актеров, говорите — «умри», и с этими словами спускаете курок; но пистолет дает осечку, и человек не знает, что ему делать — умирать или нет.

Он решает подождать, пока вы выстрелите второй раз; вы стреляете вторично, и пистолет дает вторую осечку. Тут только вы замечаете, что бутафор забыл надеть пистон, и убегаете за кулисы. Оставшийся на сцене актер думает, что все кончено, и потому, не дожидаясь вас, падает и умирает. Вы бежите уже с надетым пистоном и хотите его убить, но находите его распростертым на полу.

В нашем театре нет никаких костюмов. Поэтому на какие только хитрости и ухищрения не заставляет пускаться нужда и необходимость. Ты себе представить не можешь, до чего дошла наша изобретательность доставать и придумывать себе костюмы. Мой старый сюртук с белым жабо и кружевами вокруг рукавов, которые нашивает мне перед спектаклем одна молодая девушка, служит мне, когда я играю роли франтов в старинных комедиях; когда надо изображать французского солдата, я отворачиваю назад передние фалды и прикрываю их красной клеенкой. Пара белых рейтуз вполне заменяет лосины; когда же надо изображать

испанского заговорщика, я обыкновенно выпрашиваю у своей хозяйки скатерть…»

В конце октября я приехал в Лондон и первым долгом пошел в мой старый театр на Суррейской стороне. Там я нашел совсем новый состав актеров и нового антрепренера, который, однако, знал меня и сейчас же принял к себе в труппу на молодые роли за то, что у меня была одна совсем новенькая пара платья. Но не успел я пробыть здесь и одной недели, как антрепренер разорился и театр закрылся. Должно быть, его окончательно разорили те двенадцать шиллингов, которые он заплатил мне в субботу вечером. В понедельник утром в театр пришли какие-то люди и отвинтили газовые рожки; антрепренер сказал, что не может больше содержать театра, и отпустил нас на все четыре стороны.

Тогда я с двумя или тремя актерами этой труппы отправился в Ист-Эндский театр, который открывался на очень короткое время также по случаю приезда одного известного всему миру актера. Это был по счету сороковой известный всему миру актер, имя которого я слышу в первый раз. Вследствие этого пришлось сделать заключение, что я очень неразвитой человек и что мое образование в области сценического искусства и всемирных знаменитостей, очевидно, сильно хромает.

Устройство этого театра было довольно оригинальное, так как вход был сделан через ресторан, принадлежащий хозяину театра, но наша маленькая труппа была вполне гарантирована от этого искушения, потому что со всех нас вместе едва ли можно было собрать один шиллинг. Мои финансы были в самом плачевном состоянии. От нескольких фунтов, которые у меня были до поступления на сцену, после того как я накупил себе театральных костюмов, а также истратил на переезды с места на место и т. д., у меня осталось несколько жалких шиллингов. Я чувствовал, что придется распрощаться со сценой, но решил бороться до последней крайности, чтобы избегнуть обычных возгласов: «я говорил, что так будет», «я знал, что рано или поздно тебе придется бросить эту пустую затею», которыми так любят награждать и доводить нас до бешенства наши друзья и приятели.

Желающих поступить в этот Ист-Эндский театр было видимо-невидимо. Но мне почему-то повезло, и я был принят в этот театр, где встретил нескольких знакомых из балаганного театра, которых я покинул; они, очевидно, пришли к тому же заключению, что и я, то есть что нельзя прожить, получая несчастных десять шиллингов в неделю. Театр был открыт только

две недели, и за это время ничего особенного не случилось, кроме одного неприятного инцидента со мною, которого я никогда не забуду. Дело в том, что меня страшно осмеяли, а все по вине идиота-режиссера. Давалась мелодрама; действие происходило в каких-то неведомых странах, и потому режиссер настоял, чтобы я надел самый гнусный и безобразный костюм. Я знал, что меня поднимут на смех, и мои ожидания сбылись. Только что я появился на сцене, как вдруг на галерке кто-то громко спросил: «Что это такое, Билл?» Затем другой голос ответил: «А вот угадай, будешь молодцом».

После этого раздался взрыв смеха. Я готов был сгореть со стыда и до того взволновался, что долгое время не мог припомнить и начать свою роль. Наконец, я собрался с силами и только что раскрыл рот, как вдруг кто-то крикнул во всю глотку, голосом, полным удивления: «Ах, черт его возьми, ведь это чучело живое!»

Затем со всех сторон послышались на мой счет шутки и остроты: «Вот бы народу собралось, если бы его выставить в окно магазина!» «Красивый костюм, нечего сказать; только для гулянья по воскресным дням!» «За такого урода смело можно дать тридцать шиллингов!» Нашелся только один добрый человек, который, видя мое замешательство, пожалел меня и сказал наставительным тоном: «Не обращайте на них внимания, дружище; делайте свое дело. Ведь они завидуют вашему костюму». Не знаю, как я сыграл и провел свою роль до конца. С каждой минутой я делался все раздражительнее и все больше и больше волновался, что вызывало еще большие насмешки галерки. Это так на меня подействовало, что потом я несколько дней боялся предстать перед публикой. Конечно, за кулисами все сильно жалели меня, потому что каждый из них не раз испытывал подобные неприятности. Смеяться и издеваться над кем-нибудь очень приятное занятие, но те, над кем смеются, не могут находить это смешным. Сидя в театре, я не могу слышать, когда смеются над актерами. Актеры очень чувствительный народ, и люди, которые осмеивают их, хотя бы и имея на то основания, понятия не имеют, какие причиняют им жестокие страдания и боль. Конечно, иногда не только можно, но даже должно выразить свое несогласие или протест против иной игры, но единственно с целью исправления ошибок и недостатков, а не для издевательства. «Высмеивают» только самые глупые люди, желающие блеснуть перед публикой своим пошлым остроумием.

Пробыв две недели в Ист-Эндском театре, я поступил в хор одной опереточной труппы, гастролировавшей в Уэст-Эндском театре. Здесь я пробыл три недели, в течение которых давалась

одна и та же оперетка, и потом получил ангажемент, что было особенно легко вследствие приближающихся Рождественских праздников, и уехал в провинцию.

Мое пребывание в Лондоне было не особенно удачно и мне лично не принесло никакой пользы. Зато дало моим товарищам возможность опять увидеть и насладиться моей игрой. Относительно последнего они мне ничего не говорили, но я сам знаю, что моя игра доставляла им большое эстетическое удовольствие. Мои товарищи очень осторожны в расточении похвал. Я не могу их обвинить в лести; они, наоборот, скорее склонны говорить неприятные вещи, чем приятные. Они народ очень честный и не станут скрывать своих мыслей, а откровенно, прямо в глаза, скажут, что обо мне думают. Я уважаю их за такую прямоту, хотя уважал бы их еще больше, если бы они иначе думали и говорили обо мне. Сомневаюсь, чтобы у кого-нибудь могли быть более добросовестные друзья. Я слышал от многих, что у них есть «восторженные и всем восхищающиеся друзья», «льстивые» и «снисходительные друзья», но никто никогда не говорил, что у него такие хорошие друзья, как у меня. Я часто думал о том, что охотно поменялся бы своими друзьями, если бы нашелся такой человек, который бы был недоволен своими; что касается моих, то я могу поручиться чем угодно, что они — воплощенная справедливость и откровенность. Они незаменимы для человека, который хочет знать свои недостатки; кроме того, каждый самонадеянный человек извлечет из их общества огромную пользу. Я тоже извлек ее.

Глава XVIII
Мой последний дебют

Я покинул Лондон как раз в тот день, когда, ровно двенадцать месяцев тому назад, выезжал в первый раз в провинцию в полной уверенности, что составлю себе известность и артистическую карьеру. Я покидал его с большим багажом с ранним почтовым поездом, выходящим из Истона, а приехал назад, уже не будучи актером, с больными ногами, голодный, в одном только платье, которое было на мне.

Несколько дальнейших отрывков из моих писем достаточно свидетельствуют о последних месяцах моей артистической жизни. Во всех этих письмах проглядывает грустный тон, да и не удивительно, потому что я писал их в то время, когда переживал самое большое разочарованье и когда дела мои были страшно плохи, а при таких обстоятельствах все окружающее представляется человеку в самом тусклом, неприглядном свете.

Вот что я писал спустя три недели после Рождества Христова:

«…Дела идут хорошо, деньги платят аккуратно. Пока все время дают пантомиму, работы мало, издержки тоже невелики, потому что живем на одном месте. Вот начнем переезжать с места на место, тогда будет намного труднее. Как провинциальная публика любит пантомиму и как я ее ненавижу! Не могу сказать, чтобы я был высокого мнения о провинциальной публике. Им еще много надо учиться и просвещаться, пока они поймут, что такое настоящее искусство. Самые плоские остроты и балаганные шутки веселят и приводят их в восторг. Как жителям Биллинсгейта надо еще много поучиться, чтобы знать английский язык, так много пройдет времени, пока провинциальная публика станет что-нибудь смыслить в драматическом искусстве.

В субботу мне пришлось экспромтом играть роль нашего комика, потому что он был пьян в стельку. Вообще, очень жаль, что среди актеров так развито пьянство. Какой репутацией должны пользоваться артисты в глазах публики, если каждый день в театральном журнале им приходится читать следующие объявления: «Нужны только трезвые артисты», «Просят приходить только тех, которые могут не пить, хотя бы во время представления», «Людей, которые вечно пьяны, просят не приходить». Я знаю многих людей, которые нарочно напиваются перед тем, как надо выходить на сцену; очевидно, они делают это в том предположении, что в здравом уме не могут играть и что

гораздо лучше сыграют при полном отсутствии его; Причиной этого отчасти бывают неверные и бестолковые слухи, которые существуют в театральном мире. Например, говорят, что такой-то великий актер только потому блестяще провел свою роль, что был пьян, и другой маленький актер, играя ту же роль, нарочно напивается, в полной уверенности, что это поможет ему точно так же хорошо сыграть эту роль.

Точно так же меня всегда возмущала привычка актеров сквернословить и браниться самыми отчаянными словами. Я помню, однажды мы решили платить в общую кассу по одному пенни за каждое бранное слово. Но через два часа мы должны были отменить это постановление, потому что ни у кого из нас в кармане не осталось ни одного пенни…»

Шесть недель спустя:

«…Дела театра идут очень плохо, хотя антрепренер ведет себя джентльменом. До последней недели он аккуратно до последнего пенса выплачивал нам жалованье; прошлую же субботу он созвал всех нас и сказал, что содержать театр он больше не в состоянии, но если мы желаем, то он готов продолжать дело на компанейских началах, чтобы испытать, не повернется ли счастье в другую сторону. Мы согласились, но, конечно, прогорели; после данных восьми спектаклей, за вычетом всех расходов и издержек, чистого барыша осталось восемнадцать пенсов, из которых антрепренер взял себе три части (одну за то, что он антрепренер, другую за то, что играл, а третью уж не знаю почему, должно быть, чтобы вышли вместе три части), а остальные деньги, то есть по одному пенсу на брата, остались нам. Стыдно подумать, что я в неделю проживал здесь столько, сколько в Лондоне платил за один только обед…»

Через неделю наша труппа разбрелась, и я поступил к другому, первому попавшемуся антрепренеру. Вот что я писал в это время:

«…Я едва могу держать голову над водой; если обстоятельства не изменятся и положение не улучшится, я пойду ко дну; своих денег у меня давно уже нет, а на заработанные жить невозможно. На прошлой неделе мы все страшно горевали. Умер наш премьер, оставив совсем без средств жену и двух детей. Умри в Лондоне какой-нибудь известный актер, получающий в год тысячи три фунтов, театральная пресса подняла бы на ноги всех благотворителей, поместила бы в газетах самые трогательные

воззвания и заставила бы все театры дать в пользу его семьи несколько спектаклей с повышенной платой. Но так как наш актер получал ни больше ни меньше, как только два фунта в неделю, то им никто не поинтересовался; жена, чтобы прокормить себя и детей, пошла по домам стирать белье. Но я уверен, что она отказалась бы от помощи, если бы даже ей предложили. Из ложного ли самолюбия или по недальновидности, она заявила, что, если бы умирала с голоду, никогда бы не стала оскорблять память покойного мужа и его благородной деятельности попрошайничеством…

Эта труппа тоже разорилась. Вообще, для театров настали трудные времена. Торговля идет плохо, все жалуются на недостаток в деньгах и потому стараются сохранить свой бюджет и первым делом вычеркивают все издержки на развлечения и увеселения».

Мало-помалу я лишался всех хоть немного ценных вещей и все чаще и чаще посещал ломбарды, особенно перед отъездом в другой город. Я путешествовал по стране подобно разбитому бурей кораблю, выбрасывающему за борт свой груз, чтобы спастись. В одном городе я оставлял часы, в другом цепочку; здесь кольцо, там платье; дорожный чернильный прибор, пенал — все было снесено туда же. Так продолжалось вплоть до мая месяца, когда я написал Джиму следующее, последнее, письмо:

«Дорогой Джим, ура, я оживаю!

Дела начинают понемногу поправляться, да пора, знаешь, а то я было уже пришел в отчаяние и думал, что сценическое искусство должно будет обойтись без меня. Но теперь я спасен; вчера я поступил в новую труппу и страшно доволен. Антрепренер прелестный господин и очень хорошо знает свое дело. Он отлично понимает, что надо делать, чтобы расшевелить и заинтересовать таких безмозглых идиотов, как провинциальная публика, и потому, не жалея денег на издержки, лепит направо и налево самые ужасные афиши и объявления. Он очень веселый человек и, очевидно, интеллигентный, потому что сразу оценил меня. Я не думал просить его принять меня в свою труппу, но он один раз увидал мою игру и предложил перейти к нему. Я играю роли первых любовников и получаю тридцать пять шиллингов в неделю. Он — капитан в отставке и большой джентльмен, потому что никогда не бранится и не ругается; все от него в восторге. Он собирается объехать все северные города Англии, побывать в больших лайкейширских и йоркширских городах, а на весь зимний сезон переехать в Лондон. Мне он предлагает подписать

контракт на весь год, причем обещает платить два фунта и пять шиллингов в неделю. Я делаю вид, что колеблюсь. Нельзя сразу соглашаться, я сказал ему, что подумаю, но, конечно, думать не стану и, в конце концов, с радостью подпишу контракт. Прости, что не могу больше писать, сейчас иду к нему обедать. Здесь мы останемся еще три недели, а потом едем в N.; у меня очень удобное помещение, твой…»

Это письмо я писал в пятницу. В субботу же в двенадцать часов дня мы собрались в театр, чтобы получить жалованье.

Капитана не было. Накануне он уехал за город в гости к своему большому приятелю и до сих пор еще не возвращался. Режиссер уверил нас, что он к вечеру вернется и заплатит нам жалованье после спектакля.

После спектакля мы собрались на сцене и ждали антрепренера. Через десять минут в театр прибежал с озабоченным лицом резонер (он бегал пропустить одну-другую рюмочку виски в ресторан, пока его еще не закрыли) и сообщил, что только что встретил кассира со станции железной дороги, который сообщил ему, что «капитан» уехал в Лондон с ранним утренним поездом. Это печальное известие подтвердилось рассказами посыльного мальчика, который видел, как антрепренер поспешно уходил из театра до начала репетиции с черным саквояжем в руках.

Услышав это, я отправился в уборную, сложил в узелок все свои вещи и вышел опять на сцену. Актеры все еще стояли и с грустным видом обсуждали печальное положение дел. Я прошел мимо них, не произнося ни слова, спустился вниз и подошел к двери театрального подъезда. Я широко распахнул ее, придержал ногой и остановился на мгновение на пороге, чтобы вглядеться в ночную темноту. Затем поднял воротник своего пальто и быстро зашагал по мокрой улице по направлению к вокзалу. Дверь скрипнула на ржавых петлях и с шумом захлопнулась за мной для того, чтобы никогда больше для меня не открываться.

notes

Примечания

1

Ужасный народ — мои друзья. Они уверяют, что у меня никогда не было артистических способностей. Но кому же это лучше знать, как не мне? — *Примеч. автора.*

2

Я не знаю, давал ли когда-нибудь Гораций подобные советы, но говорю так на всякий случай, во избежание возражений. — *Примеч. автора.*